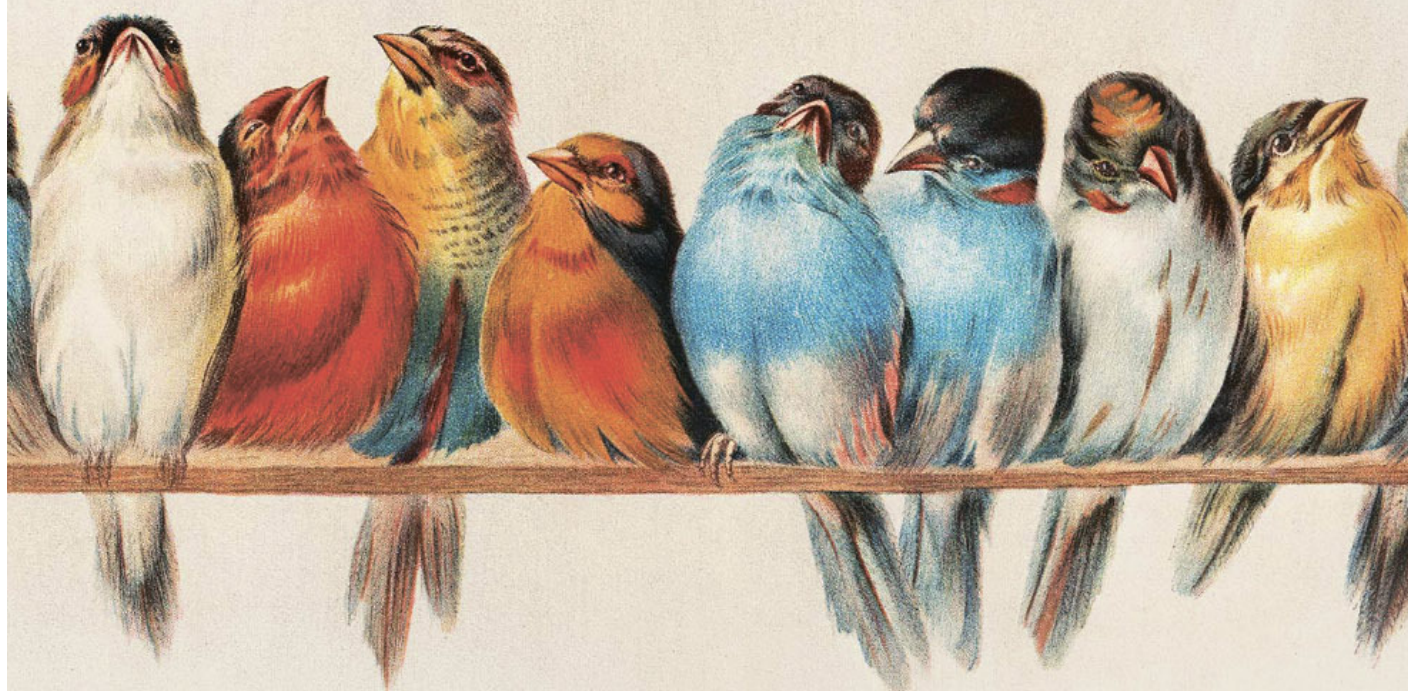


«Незабываемый роман, исследующий
материнство и уязвимость».

Tinder Press

МАЛЕНЬКИЕ ПТИЧЬИ СЕРДЦА



Виктория Ллойд-Барлоу

Виктория Ллойд-Барлоу

Маленькие птичьи сердца

Издательство "Livebook/Гаятри"

2023

УДК 82-3
ББК 84

Ллойд-Барлоу В.

Маленькие птичьи сердца / В. Ллойд-Барлоу — Издательство
"Livebook/Гаятри" , 2023

ISBN 978-5-907428-82-9

Сандей живет в небольшом городке. Ей сложно общаться с людьми, поэтому она ищет подсказки, как вести беседы и принимать гостей, в справочнике по этикету и сицилийском фольклоре. Близкие отношения у нее лишь с дочерью, но Долли уже шестнадцать, она вот-вот выпорхнет из гнезда, и Сандей заранее переживает об этом. Когда рядом поселяется гламурная лондонская пара Вита и Ролло, которая обезоруживает своим обаянием, ее тревога только нарастает. Долли все чаще задерживается у них в гостях, забывая предупредить мать, все реже делится с ней секретами, все более странно ведет себя. Сандей все больше беспокоит вопрос: что кроется за фасадом красивой жизни лондонской пары? Это пронзительная история о родительстве, одиночестве и о том, что цена доверия между людьми всегда высока.

УДК 82-3
ББК 84

ISBN 978-5-907428-82-9

© Ллойд-Барлоу В., 2023
© Издательство "Livebook/
Гаятри" , 2023

Содержание

Озерный край,	6
Рыба со сверкающей чешуей	17
Зимние пчелы	24
Говорите громче, говорите нормально	27
Пропавшее сердце	37
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Виктория Ллойд-Барлоу

Маленькие птичьи сердца

© Viktoria Lloyd-Barlow, 2023

© Юлия Змеева, перевод на русский язык, 2023

© Livebook Publishing, оформление, 2023

Озерный край, 1988

Я впервые увидела Виту всего три года назад. День начался, как начинались тогда все мои дни – я поздоровалась с дочерью, которая с превращением в подростка стала все больше закрываться и все реже и реже показывать мне себя. Я разбудила ее, приняла душ, оделась, потом, естественно, разбудила ее еще раз и спустилась вниз. Тем летом я ела только белое и, по сути, питалась хлопьями, тостами, кашами и оладьями на завтрак, обед и ужин. В дни, когда допускалась несухая пища, белыми также считались яичница и омлет. Однако в разные дни яйца могли считаться белой едой, а могли и не считаться, и понять это можно было, только подержав яйцо в руке. Такая маленькая, но реальная радость: я, взрослый человек, могла решать, никому ничего не объясняя, считалось ли яйцо белым и, следовательно, съедобным, или не считалось. И никто не посмел бы сказать мне, что я выпендриваюсь. Что я истеричка и просто хочу привлечь к себе внимание. Никто не стал бы игнорировать меня, пока я не съем что-то цветное.

Иногда и лишь в присутствии Долли я для вида ела что-то, что не вписывалось в мой реестр разрешенных продуктов. *Так, значит, ты все-таки можешь нормально есть? Можешь делать все то же, что и остальные, и не выпендриваться?* Мать часто так говорила. Я же отвечала про себя и продолжаю отвечать даже теперь, когда она умерла: *да, мама, могу, но у исключений из правил есть цена, и платит ее мне.* Это мое горло и тело пылают, когда я вежливо проглатываю пищу неправильного цвета; моя рука чешется, когда сосед приветствует меня легким касанием. Это мне нести следы этих встреч, этой болезненной сенсорной атаки.

Но нарушение правил ради дочери воспринималось не так травматично. Потому что любовь к ней была сильнее моей приверженности привычкам. Я уже тогда боялась растущего между нами отчуждения, этого откормленного зверя, что стремительно рос ширирь и с каждым днем все больше отделял нас друг от друга. Чем сильнее Долли отдалялась, тем старательнее я пыталась поддерживать иллюзию нормальности. Когда могла, подавляла поведение, которое являлось для меня естественным. Так, в белый период я отважно добавляла на тарелку вроде бы бледный, но все же не белый кусок: очищенное и нарезанное яблоко, бледно-зеленый виноград, отварную рыбу или курицу. В период, когда я могла есть лишь фрукты и розовый йогурт, я делала нам сырную тарелку с крекерами, чтобы перекусывать перед телевизором, и тайно содрогалась, когда сухие крошки когтями врезались мне в горло.

В прошлом году наш сад облюбовал местный кот. Это был тощий серый зверь, при приближении нарочно смотревший мимо меня в одну точку; он напоминал мне маленького высокопоставленного чиновника – вежливого, но отстраненного. Несмотря на очевидное отсутствие интереса, он одно время регулярно к нам заходил и приносил маленькие трупки домашних мышей и полевок. Кот аккуратно складывал их у наших ног и садился рядом, всем видом показывая, что находится здесь без особого желания: тельце напряжено, маленькая мордочка повернута в сторону. Поначалу мы пытались его погладить, а он хоть и не убегал, но вздрагивал от наших прикосновений; вскоре мы смекнули, что его лучше не трогать.

Когда я ела не-белую пищу ради дочери, я напрягалась, как тот кот, и ждала, что мою жертву оценят молча и без лишней суеты. Долли благоразумно молчала и никак не комментировала мои попытки бороться со своими странными пищевыми привычками. Я видела в этом проявление такта, хотя на самом деле ей, подростку, было просто на меня плевать. Я в свою очередь не говорила о том, какими тревожными мне казались разнообразные цвета и текстуры пищи, которой она отдавала предпочтение. Теперь я понимаю, что эту теплоту между нами я вообразила. Все, о чем мы молчали, все наши тихие компромиссы я принимала за любовь. Но со временем осознала, что дочь не успокаивают эти недомолвки: они успокаивали лишь меня.

Теперь я знаю, что мы с ней разные и совсем не похожи ни в пищевых привычках, ни во всем остальном. Я должна была понять это еще давно, памятуя, как скоро она возненавидела кота.

Вскоре после того, как я тем утром разбудила Долли во второй раз, дверь хлопнула, сообщив, что дочь ушла в школу, и я осталась в доме одна. Я сидела внизу, в холле, а сверху доносились настойчивое бормотание. Долли забыла выключить телевизор; она часто об этом забывала, и он разговаривал сам с собой в пустой комнате, как заблудившийся в доме пожилой гость. Телевизор недавно подарил ее отец; строгая черная коробка контрастировала с девичьей обстановкой комнаты. Бабушка Долли выбрала эту мебель много лет назад, но рюшечки и цветочки уже давно разонравились Долли, чей вкус теперь стал более утонченным. Летом мы планировали сделать в комнате долгожданный ремонт, но в последнее время она все чаще размышляла, что через пару лет уедет путешествовать или учиться в университете, и тогда часто ли она будет приезжать домой? «Сама знаешь, путешествия... новые друзья... да и работа, наверное», – рассуждала она, подперев рукой подбородок, острый, как у всех Форрестеров, а когда произнесла слово «работа», резко вдохнула и смущенно хихикнула, как школьница на уроке биологии.

Речь Долли нередко была грамматически бессвязной и не имела четкой структуры и темы, но и бессмысленной ее назвать было нельзя. О будущем она говорила обрывками фраз, но в неизменно легком и светлом ключе. Ее речь лилась как прекрасная песнь, и я заслушивалась музыкой слов, но не их смыслом: почти все, что говорила мне дочь тем летом, соответствовало этому описанию. Разговоры были красивым отвлекающим маневром, и я осознала всю глубину своей обиды лишь потом, когда она уехала. Легкость, с которой она говорила об отъезде, ужасала меня, как и сам отъезд.

Тем утром я вошла в ее комнату с намерением выключить телевизор, но так этого и не сделала, заслушавшись фактами, которые обсуждали в передаче. У старого профессора брала интервью бойкая женщина в ярком платье; узор на ткани, казалось, жил своей жизнью, переливался и вспыхивал, как интерференция волн на экране. Профессор считался экспертом по культуре Викторианской эпохи и все лето ходил на круизном лайнере, читал лекции и продавал книги с автографами; одну из них он держал в руках и иногда показывал в кадре.

Ведущая вела интервью бодро и заинтересованно, хоть явно не разбиралась в теме, но беседу затрудняло то, что они с профессором находились далеко друг от друга. Никто не объяснил, что из-за спутникового интервала речь профессора транслировалась с задержкой, поэтому возникало впечатление, что он колебался перед ответом. После каждого вопроса – *когда в Британии возникла традиция наряжать елку на Рождество? Почему романы Диккенса такие длинные?* – профессор некоторое время молча смотрел в камеру, а выражение его лица не менялось. Когда же вопрос наконец долетал до него по спутниковой связи, его лицо преображалось, и по нему пробегала заметная волна оживления. Первоначальная задержка с ответом и отсутствие реакции на лице напомнило мне, как общалась с людьми я сама. Я вспомнила своих смущенных родителей в школе, толкавших меня в спину, пока я молча выстраивала в голове идеальные фразы, но никак не могла заставить себя их произнести, как умелая пловчиха не может выплыть на поверхность, запутавшись в водорослях на дне. Чужие и знакомые люди часто повторяют заданные вопросы, так как я не успеваю ответить на них вовремя, но сама я эту отсрочку не чувствую. При этом они смотрят на меня неподвижным взглядом, словно рассчитывая, что их суровость заставит меня произнести несказанные слова.

После отсрочки профессор отвечал тщательно выстроенными фразами. Если бы в обычной жизни у меня всегда была такая отсрочка, никто не заметил бы, что со мной что-то не так. Задержка в ответе и сопутствующий дискомфорт были мне так хорошо знакомы, что я поспешила выключить передачу. Перед тем как экран погас, бесстрастное лицо профессора застыло в ожидании – одинокий лик в бескрайнем и беззвучном океане, сквозь который к нему спешили произнесенные слова.

Я начала прибираться в комнате Долли, наслаждаясь установившейся в своем доме тишиной. Раздвинула шторы – и в комнату хлынул яркий утренний свет, ударил мне в глаза и засветил раскинувшиеся за окном поля. Мы жили в городе на дне долины. Позади нашего дома тянулась улица, упиравшаяся в фермерские угодья, расположенные на крутом холме, резко взмывавшем вверх и ведущем прочь от города. Я прожила здесь всю жизнь и знала, что в конце лета эти поля поджигали. Каждый год мне нравилось смотреть, как после сбора урожая работники ферм разводили маленькие костерки, и те разгорались, стимулируя урожайность земли. Гнилостно-сладкий дым опускался в сады на дно долины. И каждый год я мысленно повторяла: *брукка ла terra, брукка ла terra*. «Горит земля»: этими словами итальянцы описывают усердие, с которым сицилийцы возделывают землю. Я шептала их тихо, как молитву; костры казались благом и приносили очищение. Сжигание земли после сбора урожая научило меня, что горение можно ошибочно принять за сияние; то, что горит, увлекает, как и то, что сияет.

Когда глаза привыкли к солнцу, я увидела, что на лужайке соседнего дома лежит невысокая темноволосая женщина. Дом сдавали отпускникам, а хозяева – Том и его жена – приезжали только летом и иногда на долгие выходные среди года. Местные, как правило, недолюбливали отпускников, которых в последние годы в городе прибавилось, но Том, по натуре дружелюбный, не входил в эту категорию. У него было трое детей, все погодки, и одно время мне казалось, будто он несколько лет носил на руках одного и того же младенца, а потом вдруг откуда ни возьмись появлялись выросшие дети, неуверенно ковылявшие за ним следом, и именно они были его новыми детьми. Его жена была светловолосой, рыхлой и миловидностью сама напоминала ребенка. Женщина в саду являлась ее полной противоположностью.

Она не замечала моего взгляда, и меня это сразу встревожило. Она лежала на спине, раскинув руки и ноги под неестественными углами, будто упала с большой высоты или кто-то специально уложил ее так, пока она была без сознания. Я имела удовольствие наблюдать за ней без двусмысленного визуального контакта, который всегда сулит надежду или отказ, но не дает никаких гарантий, что вы верно его интерпретировали. Однажды я точно так же смотрела на свою маленькую дочь, когда та лежала на спине в компьютерном томографе. *Я первой тебя полюбила*, говорила я Долли в приступе сентиментальности, прибавляя сама себе очков в соревновании, в котором та даже не собиралась участвовать. *Я первой тебя узнала*, повторяла я дочери снова и снова; *я смотрела на тебя и любила тебя задолго до того, как ты меня увидела*. Я произносила эти слова, обращаясь сначала к ее внимательному младенческому личику, затем ко взрослому строгому женскому лицу; произносила ласково и с ложным ощущением собственности. Ее глаза с возрастом не изменились; во взгляде всегда в равной степени смешивались подозрительность и пристальное внимание.

Женщина, которой предстояло стать моей Витой, лежала на полосато-зеленой лужайке Тома, раскинувшись на солнцепеке в неподвижной неге, подобно окружавшим ее плодовым деревьям. В прошлом году лето выдалось долгим, продленным теплой весной и ласковой осенью; в разгар жары духота, как строгий отец, приговорила нас к домашнему аресту. Но в год Виты солнце появлялось лишь для вида, а лето было летом лишь по внешним признакам, без настоящей жары. Первые его дни запомнились мне утренней дымкой, сулившей тепло, которое так и не наступало. Теперь я понимаю, что они были своего рода репетицией перед тем, что последовало потом, когда внезапно наступивший зной прокатился по нашим сонным улицам с застывшей ухмылкой на лице и раскинутыми в стороны огненными руками.

Вита лежала, раскинув руки в стороны ладонями вверх, точно ждала, что с неба на нее посыплются дары. Ее волосы, красиво заколотые шпильками, и чернильно-синий аккуратный приталенный костюм меня испугали; я решила, что женщина такой элегантно наружности не могла просто так разлечься на лужайке по своей воле и наверняка очутилась там в результате падения или насильственного вмешательства. Я сбегала вниз и выскочила в сад, громко хлопнув стеклянными дверями, а потом открыла скрипучую дверь сарая, чтобы проверить ее

реакцию. Она повернула голову и открыла глаза, и мы взглянули друг на друга поверх низкого деревянного забора; она доверительно посмотрела на меня, на миг впустив меня в свой мир. Ее прелестное лицо было спокойным; она встала и зашагала к дому ничтоже сумняшеся, как будто была одна на всем белом свете и никто на нее не смотрел.

Потом мне в дверь позвонили, я открыла и увидела *ее*. Она стояла на пороге моего дома, сонно моргая, сцепив руки за спиной и потягиваясь на обманчиво ярком солнце.

– Ммм, – тихо пропела она себе под нос, а увидев меня, рассмеялась. – Я еще... не до конца... проснулась! – сказала она.

Не до конца пра-а-аснула, молча повторила я про себя. *Пра-а-аснула*!

Я часто подражаю чужому произношению и научилась делать это мысленно. Мне нравится улавливать ритм чужой речи, рисунок ударных и безударных слогов. Вита тянула гласные, это свидетельствовало о том, что передо мной иностранка с безупречным, старательно натренированным произношением. Я очень внимательный слушатель; таким образом я с детства защищалась от чужих глаз, что всегда, при любой беседе и социальном контакте, стремились встретиться с моими. Я пришла к выводу, что мимика едва ли сообщит мне больше, чем слова. То ли дело манера речи, тон, секундные паузы, акценты – этим языком я владела в совершенстве.

– Здравствуйте! Я Вита, – поздоровалась маленькая женщина, стоявшая на моем пороге. От нее приятно пахло.

Та-да-да! ТААА диш-да, молча повторила я про себя, выискивая в ее речи ритмический рисунок, который указывал бы на принадлежность к другой национальности, происхождению или социальному слою. Слушать чужую речь мне помогали движения пальцев, наподобие тех, что совершает дирижер, но я пришла к выводу, что собеседников это отвлекает и даже напрягает. При первой встрече собеседник обычно акцентирует приветствие или свое имя, но Вита намеренно акцентировала личное местоимение «я», отчего у меня возникло ощущение, что передо мной звезда, которую давно ждали: *вот она я, наконец-то!*

Мой бывший свекор водил давнюю дружбу с одним актером средней известности, жившим здесь у нас неподалеку, и неизменно упоминал об этом при любом удобном случае. Я встречала актера несколько раз дома у свекров, и каждый раз тот здоровался со мной как впервые, соблюдая один и тот же ритуал: кланялся и скромно поднимал взгляд, а потом называл свое имя с краткой лукавой улыбкой, как будто все это было игрой в формальности, а на самом деле никому не надо было сообщать, кто он такой. Но Вита была не из таких; восторженным тоном своего приветствия она словно признавала, что между нами уже существует некая связь, а акцент на «я», казалось, включал и меня. Как будто я ждала ее или догадывалась о ее существовании до нашей встречи; как будто мы уже были близкими друзьями.

Попытки наладить дружеское общение всегда должны исходить от старожил квартала. Если соседи не иницируют знакомство, новоселы должны соблюдать правила вежливости при случайных встречах и не требовать сближения, а также не сообщать о себе лишнего. Свои познания по теме соседского общения я черпала из зачитанной книжки, которая появилась у меня еще в подростковом возрасте, когда я начала попадать в различные запутанные социальные ситуации и не знала, как себя вести. «Дамский этикет: путеводитель по поведению в обществе» принадлежал перу Эдит Огилви, дамы почтенных лет, написавшей огромное количество любовных романов и надевавшей бриллианты и розовый шифон даже за завтраком. Эдит, с одной стороны, шепетильно следовала светским правилам, а с другой, была в меру эксцентрична – труднодостижимый баланс, к которому я сама однажды надеялась прийти. Леди Огилви, мир ее праху, дважды побывала замужем, и оба мужа подарили ей аристократические титулы и возможность жить в роскоши; о своих удачно сложившихся жизненных обстоятельствах она не раз писала в своих книгах; об этом же свидетельствовали и ее фотографии. По причине отсутствия иных забот Эдит занимали исключительно тонкие мате-

рии: как управлять прислугой загородного дома и с какими титулами обращаться к заезжим высокопоставленным лицам. Но в целом ее советы относительно поведения в обществе были довольно полезны. Соседям и новым знакомствам Эдит посвятила целую главу. Однако в ней ничего не говорилось о том, что делать, если ты случайно увидел соседку спящей, а потом та проснулась и явилась к тебе домой без приглашения.

– Я вас увидела и решила представиться. Захотела познакомиться. Муж говорит, что я слишком нетерпелива, всегда первая напрашиваюсь в гости, люди не успевают нас пригласить, – рассмеялась Вита.

Она смеялась громко и непринужденно, не прикрывая рта и не пытаясь скрыть своей радости, как большинство людей, а напротив, широко открывала рот, демонстрируя мелкие блестящие зубы.

Успокойся, успокойся, тихо, тихо, тихо, твердили мне в детстве, когда я слишком шумела. *Громче, повтори, ну чего ты так тихо*, постоянно одергивали меня, когда я стала постарше. Но Вита первая нарушила правила этикета, и сама в этом призналась; наше знакомство произошло задом наперед не по моей вине, и я была ей благодарна. В ее произношении я слышала спокойную уверенность роскоши; то звучала речь человека, в чьей жизни были уроки тенниса, частные школы и летние каникулы за границей. Она говорила властно и успокаивающе, словно заказывала коктейли у неопытного бармена. Я поняла, что никогда не слышала такого правильного английского произношения, как у Виты, и, пожалуй, она все-таки не иностранка. Она тараторила так бойко и безупречно, что даже я с моим талантом замечать несоответствия решила, что столь беглое произношение не может быть настоящим, что это пародия, искусная игра. Но ее речь была чистой и лилась непринужденно.

– Почему вы остановились у Тома? Вы дружите? – спросила я.

Из-за тонкой изящной фигуры издаലെка она казалась моложе, но, увидев ее вблизи, я поняла, что она намного старше меня. Судя по неглубоким морщинам, ей было около пятидесяти пяти; у нее были внимательные глаза и кожа, которая выглядит свежо лишь под солнцем, умасленная средством для загара. *В наших краях загар сойдет уже в сентябре*, подумала я. *И щеголять загаром тут не выйдет: большую часть года мы ходим в куртках, замотанные шарфами*. Я повторяла это про себя маминым голосом, но даже ругая Виту про себя, знала, что та отыщет способ быть загорелой круглый год и найдет повод выгулять платье, в котором этот загар предстанет в лучшем виде. Кожа Виты сияла, как атлас; такой кожи я прежде ни у кого не видела. И неудивительно: второй такой Виты я не встречала. Она была как драгоценный камушек в форме человека, добытый в недрах земли и поднятый на поверхность, чтобы жить среди нас, обычных серых камушков, своим блеском напоминая о том, какие мы серые и скучные. По сравнению со мной, бледной и невзрачной, Вита – смуглая, с точеными формами – казалась прекрасным мраморным изваянием. И на ощупь была холодной, как мрамор. Я по сравнению с ней была шепотком, трепещущей искоркой, дуновением ветерка, едва заметным в знойный летний день.

– У Тома? Ах да, у Тома! Мы с ним хорошие друзья. Что за милый, милый человек, правда? Чудесный человек. А вас как зовут?

Ее внезапное появление на моем пороге в тот день само по себе было социальной неловкостью, и я мысленно пролистнула свод правил поведения при первой встрече. Хотя Вита смотрела на меня, я не ощущала привычного давящего ожидания; она, казалось, не испытывала ни любопытства, ни беспокойства. Ее пристальный взгляд ничего от меня не требовал; я к такому не привыкла, но это успокаивало. Наконец я представилась, попытавшись симитировать ритм ее приветствия: *та-да-да! ТААА диии-да*.

– Здравствуйте! Я Сандей, – назвав свое имя, я отошла на шаг назад, увеличив промежуток между нами. Я постоянно пячусь; весь мир – бесконечная череда комнат, куда я захожу по ошибке. И ни в одной из этих комнат мне не удастся задержаться надолго; меня срочно

вызывают в другую, где я должна вести себя уже иначе, а как – непонятно. Иногда я пячусь, пячусь и упираюсь в стену, пытаюсь сбежать от кого-нибудь из знакомых, а потом отползаю и пячусь вбок, как крабик на негибачемых ножках. Скажите «как поживаете» и никогда – никогда – не говорите «рада знакомству», шепнула мне невидимая Эдит. – Как поживаете?

– Сандей?¹ – ответила Вита. – Какое прекрасное имя, дорогая! Чудесное. А вы как поживаете? – она одобрительно смотрела на меня, будто мы условились назваться вымышленными именами и мое вымышленное имя пришлось ей по душе.

Я не стала интересоваться, почему мое имя не вызвало у Виты никаких вопросов и нареканий; давным-давно я заставила себя смириться с тем, что люди могут быть непредсказуемыми. Но, приняв непредсказуемость этого мира, я обрекла себя на жизнь в одиночестве в кроличьей норе. С тех пор мне приходилось цепляться за любую твердую реальность и незыблемые факты, за особенности произношения и рисунок речи, которые никогда не ввали. Моя жизнь превратилась в карикатуру, где невозможное и не имеющее научного объяснения никогда не ставилось под сомнение, несмотря на всю свою странность. Скажем, начальник нашей местной почты никогда не здоровается со мной веселым «доброго денечка!», как с другими гражданами. Когда я захожу на почту в пасмурный день, он спрашивает: «Куда ты дела солнце?» Он произносит эти слова грубо и без тени улыбки, как будто я лично ответственна за плохую погоду и украла у него то, что принадлежит ему по праву. В другие дни он спрашивает, почему я принесла дождь, снег или ветер; я, по его мнению, виновата в любой погоде, кроме солнечной. А в качестве прощания он произносит столь же бессмысленную фразу: «В следующий раз, дорогая, будь добра, принеси с собой солнце». Таким образом он заранее благодарит меня за хорошую погоду вежливым и будничным тоном, как будто отсчитывает сдачу.

Для тех, кто шутит со мной такие шутки, я отрепетировала звук, похожий на резкий выдох: *ха!* Звук призван показать, что шутка кажется мне смешной и я ее понимаю. Звук «*ха!*» – мой ответ на все загадки общения, которые нельзя разрешить, сказав, к примеру, «это интересно». Последнее людям тоже нравится, но оба ответа можно произнести лишь во время паузы в речи собеседника и ни в коем случае не во время говорения, даже если собеседник повторяется. Не следует указывать собеседнику, что он повторяется, даже если заметили фактическую ошибку. Кроме того, люди любят, когда им смотрят в глаза. Но не слишком пристально. Как для всех ситуаций, связанных с общением, у меня есть целая система, как поддерживать визуальный контакт. Я смотрю в глаза ровно пять секунд, отвожу взгляд на шесть и снова смотрю в глаза в течение пяти секунд. Если не выдерживаю пять, пробую выдержать хотя бы три.

Людям также не нравится, когда собеседник ерзает, стучит пальцами или совершает другие лишние движения; они любят неподвижность. И любят, когда им улыбаются. Эдит Огилви утверждает, что *улыбка способна облагородить любое, даже самое невзрачное лицо. Человек, обделенный красотой, должен стремиться выражать благодущие и радость. Улыбка приведет к успеху в обществе, а угрюмость не поможет завести друзей и новые знакомства даже писаной красавице.*

Пытаясь слушать собеседника и изображая сосредоточение, я думаю лишь о том, что скоро это закончится. Так много правил, так много всего нужно упомянуть, что слова собеседника чаще всего пролетают мимо ушей.

Заметив, что я попятилась, Вита восприняла это как приглашение войти и тут же вошла, воскликнув, что у нас совершенно одинаковые дома. Проходя мимо меня, она похлопала меня по руке; темно-синяя ткань ее костюма оказалась на удивление мягкой. Ее уверенность обволакивала, как аромат, и я ее вдохнула. Вита похвалила одинаковые белые стены, которые были у меня во всех комнатах, но похвалила походя, как хвалят увиденный мельком пейзаж или

¹ Сандей – воскресенье, букв. – солнечный день (англ. Sunday).

скульптуру в музее. Я почему-то сразу поняла, что ее дом, где бы тот ни находился, пылает многоцветьем красок и всегда полон гостей, картин, шума и гама. Эдит Огилви отличалась большой строгостью в отношении интерьеров и настаивала, что обстановка дома должна быть невычурной, комфортабельной и выдержанной в натуральных тонах. *Хороший вкус не позволяет держать в доме ничего бросающегося, к примеру, слишком новые или необычные предметы или фотографии, единственным назначением которых является демонстрация социальных связей.* Насчет последнего мне можно было не переживать.

Наши с Томом дома располагались на тихой улице, как два одиноких близнеца: единственные два особняка ранней Викторианской эпохи среди домов середины века, разделенных на две части, для двух семей. Дом Тома построили раньше; он стоял в конце улицы и из всех домов нашего квартала был наиболее защищен от посторонних глаз. Застройщик обанкротился, не успев реализовать свой план застроить всю улицу добротными особняками из красного кирпича с элегантными крылечками. Поэтому наши два викторианских особняка, внушительные и строгие, выделяются на фоне стоящих вокруг небольших типовых домов, и эта видимая разница противопоставляет нас соседям. Меня с моим домом связывают болезненные чувства; я ощущаю себя женой, чей муж значительно выше ее по социальной лестнице, а к любви постоянно примешивается леденящий страх быть брошенной и остаться ни с чем. Я никогда не смогла бы купить дом сама и часто представляю параллельную жизнь, в которой живу в приюте или на улице, грязная, пугающая и себя, и окружающих. Мои родители много работали, жили скромно и выплатили полную сумму по закладной незадолго до десятого юбилея свадьбы – поразительное достижение, которое я с моим жалким доходом никогда не смогла бы повторить.

Мы с Витой зашли в кухню, где все еще висели бирюзовые кухонные шкафчики с янтарным рифленным стеклом, которые повесил мой отец, когда я была маленькой.

– Какой красивый цвет! – воскликнула Вита и робко провела рукой по дверце шкафчика, как делала я сама.

Но было уже поздно менять то, что я собиралась сказать. Я привыкла, что при первой встрече люди обычно спрашивают, «где вы живете» и «кем работаете». Поскольку Вита уже знала, где я живу, я подготовила реплику, в которой кратко описывала свою работу на ферме. Я не ожидала, что разговор уйдет в сторону дизайнера интерьеров, а ведь мне стоит большого труда и времени перенаправить разговор в другое русло и сосредоточиться на чем-то новом. При этом я не завидую способности других людей быстро перестраиваться; меня она пугает. Их ум, как пойманная рыбка, трепыхается и постоянно и бессмысленно кружит. Я же плыву дальше, не замечая смены течения.

– Я работаю на ферме. В теплицах, – слова слетели с языка непроизвольно; сказав то, что планировала, я могла продолжить разговор на дальнейшую тему. Но я знала, что мой ответ покажется ей странным, поэтому нарочно произнесла его тихо, почти про себя. А потом добавила громче: – Мой отец сам сделал эти шкафчики. Они тут с моего детства.

Эти шкафчики были единственным выделяющимся цветовым пятном в моем белоснежном доме. Мать не интересовалась интерьерами. Она любила лишь воду, что ждала за порогом и мягко покачивалась за окном ее комнаты, отделенная от дома лишь дорогой. Отец спрашивал, в какой цвет покрасить стены в той или иной комнате, но мать всегда отвечала: «В белый».

А если он предлагал подумать, отвечала: «Сам выбери, Уолтер» и больше ничего не говорила.

Он не выносил ее молчания. Поэтому покрасил дом так, как она сказала, и дом получился белым, а мебель и другие предметы обстановки он выбрал сам и расставил по своему разумению. Бирюзовую кухню он строил молча, а моя восьмилетняя сестра и я, всего на год ее младше, часами следили за ним из коридора. Тихими строгими голосами, как антропологи, наблюдающие за странным древним ритуалом и пытающиеся уловить его смысл, мы сообщали

друг другу, чем он занят. *Он рисует на стене карандашом. Берет молоток. Тихо, он меня увидел!*

Вита одобрительно кивнула, оглядев папины шкафчики, и принялась с энтузиазмом перечислять, что у наших домов было общего. Архитектор и строитель любили лепнину, и Вита с восторгом отмечала все завитушки, резные арочные проемы и каминные, которые у нашего дома и дома Тома были одинаковыми. Схожесть, кажется, ее радовала, а не огорчала; она сама в этом призналась, оглядываясь и рассеянно похлопывая меня по руке, как близкую подругу. На кухне я предложила ей сесть за маленький столик, но не предложила чаю. *Принимая незнакомого гостя, не стоит вести себя так, как вы обычно себя не ведете*, предупреждал «Дамский этикет». *Хозяйка должна вести себя сообразно своим привычкам, а не стремиться исполнить претенциозные новые ритуалы, которые затем не сможет повторить.* Я представила Эдит в пене розового шифона, обволакивающей ее рыхлое тело (*физические нагрузки для дам нежелательны, если речь не идет о благородных играх вроде тенниса или крокета*); она рассуждала о том, как опасна показуха, являющаяся худшим из нарушений для дам. Она также весьма строго ограничивала спектр тем, на которые дозволено беседовать с новыми соседями: *рекомендую говорить об окрестностях, местных магазинах, домах и так далее. Никогда не обсуждайте личные качества, поведение и привычки других соседей; это признак дурного вкуса.*

Я рассказала Вите историю наших одинаковых домов и застройщика, обанкротившегося из-за своего оптимизма. Я всегда представляла его серьезным джентльменом с тонкими усиками; он мечтал построить добротные дома для граждан из своего квартала и стыдился своей неудачи. Вита в ответ хмыкнула, не открывая рта: так часто делала и Долли. Мол, описываемая ситуация настолько предсказуемо смешна, что даже смеяться не стоит.

– А мне кажется, это очень грустная история. Вы так не думаете?

Вита ответила, не раздумывая:

– Грустная? Нет! Думаю, этот застройщик был таким же идиотом, как я. У меня тоже каждый день возникают новые идеи, как заработать миллионы. К счастью, муж указывает на недостатки в моих грандиозных планах, – она произносила «миллионы» как «мильёны», а «идиотом» как «идьётом»; я попробовала проговорить это про себя: *мильёны, идьёты*, а она тараторила дальше: – Наш застройщик никогда не обанкротился бы, будь он замужем за Ролсом, и мы сейчас жили бы на улице, где все дома были бы как наши. А получается, мы такие одни. Но мне так больше нравится, а тебе, Сан-дей? – то, как она произнесла мое имя и включила меня в свой эксклюзивный круг, мигом лишило меня сочувствия к оптимистичному джентльмену с тонкими усиками, построившему мой дом и из-за этого потерявшего все свое состояние. Благодаря его потере мы теперь были «такие одни». – Ролс тоже занимается домами. Он на этом собаку съел. Он очень хорош. Даже слишком: наш таунхаус купили в тот же день, когда мы выставили его на продажу. Иностранцы; что с них взять, – последние слова она произнесла театральным шепотом, оттопырив губы.

Я бесшумно повторила эту новую для себя фразу, повернувшись немного в сторону: *иностранцы; что с них взять*. Я произнесла ее в точности как Вита, стараясь не касаться зубов губами, словно мне не нравился вкус слов. *Иностранцы; что с них взять*.

– И даже недостроенные дома у него все под бронью. Но милый Том предложил пожить здесь, чтобы мы не остались бездомными. Очень любезно с его стороны. Его жена опять ждет ребенка, слышала? Опять! И в этот раз у нее постельный режим. *Осложнения*, – последнее слово она произнесла тем же доверительным шепотом и так же выпячивая губы, как «иностранцы, что с них взять». – Этим летом они не приедут, – она сделала преувеличенно скорбную мину, опустив уголки губ, как мим, дополнявший преувеличенной мимикой все свои слова. *Смотри! Видишь, как грустно мне оттого, что жена Тома вынуждена соблюдать постельный режим и не может приехать в свой летний дом? Видишь?* Потом так же быстро ее лицо озарилось улыбкой. – Вот почему он сдал нам дом, – последовало молчание. – А у тебя

есть дети? – наконец спросила она и окинула взглядом комнату, словно ища приметы присутствия детей; ее желтые глаза напомнили мне глянцевые стекляшки с черной точкой в середине, которые были на месте глаз у дорогих кукол.

Я представила бесконечные ряды этих круглых и немигающих глаз на складе магазина игрушек.

– Дочь. Но ей уже шестнадцать, – стоило мне это сказать, как кукольные глаза Виты изменились; взгляд то ли смягчился, то ли ожесточился, я не поняла, увидела лишь заметную перемену.

Лица новых знакомых сбивают меня с толку: невозможно понять, о чем они думают. То, что удастся прочесть по выражению их лиц, нередко оказывается бесполезным; все равно что знать национальность иностранца, но не понимать его язык.

– Уже взрослая, значит. Ну и хорошо, маленькие дети – это капец, – ее благородный выговор смягчил резкость, прозвучавшую совсем не грубо. Тогда я еще нервничала, услышав ругательство; по опыту, ругательства обычно предвещали ссору или скандал. Но Вита бранилась не так, как все; разница между ее тоном и произнесенными словами обеспечивала необходимую дистанцию и звучала отрадой для ушей. Она бранилась как бы между прочим и бросалась резкостями, как окурками; те падали к ее ногам, не задевая ее. – В городе в нашем районе было столько детей! И все друзья размножались беспрерывно. Даже моя лучшая подруга... – она не договорила, замолчала впервые с тех пор, как зашла в дом, и закрыла глаза. Потом ее глаза открылись снова, и она вернулась, улыбка вновь засияла на лице, почти не померкнув – *почти*. – Теперь мы вернулись в мир взрослых, Сан-дей. Наконец!

– А у тебя нет... – я заговорила, но осеклась, поняв неуместность столь личного вопроса.

Эдит никогда бы не одобрила столь прямых расспросов при первой встрече; беседа должна касаться лишь общих тем. Материнство же входило в длинный список «вопросов, которые нельзя задавать никогда», как и все остальные вопросы, которые мне хотелось задать. Например, *какого вы роста?* Мне хотелось спросить это у всех, кого я встречала на улице. *Вы умеете водить машину? Как, по-вашему, повлияло объединение Италии на южные регионы? Вы любите ездить на автобусе? А эта книга? Вам она нравится?* Я никогда не задаю эти вопросы, но проглатываю их каждый день, и они ползают внутри, как муравьи, щекочут, кусаются и не находят себе места. Тихонь считают странными, но молчание не так донимает, как бесконечные расспросы. А я пока не вычислила идеальное число вопросов, которые можно задать; мне кажется, я всегда задаю слишком много. В итоге все недовольны: и я, и тот, кого расспрашивают.

– ... детей? – договорила Вита за меня. – Нет, дорогая, спасибо большое, но нет. С детьми шизануться можно, а я не хочу.

С детьми *шизануться* можно, повторила я про себя и улыбнулась. *Шизануться*. Мне нравилось, как Вита выражалась, хотя «капец» понравилось больше.

– Но ты же замужем, – я догадалась бы об этом, даже если бы она не упомянула мужа.

Когда она говорила, ее руки со сверкающими кольцами нетерпеливо отплясывали в воздухе, словно торопя ее речь. Думаю, Вита ничуть бы не смутилась, если бы я начала отстукивать речь пальцами, так как сама, считай, делала то же самое.

– Да, а ты? – эти три слова слились у нее в одно и прозвучали как «дааты?».

Я отстукала ритм по коленке, сложив три пальца – указательный, средний и безымянный, – и уловила легкое повышение интонации в конце; пальцы подсказали, что интонация означала спокойное любопытство, а не надежду услышать подтверждение, что я тоже замужем.

– Нет. Уже нет, – ответила я и нарочно произнесла это как «нетууженет»; мне понравилось, как ее слова сливались в одно длинное слово.

Но у меня так красиво не получилось, согласные царапнули слух, не получилось мягкого бормотания на французский манер, как у нее. Однако в ответ лицо Виты заметно смягчилось, а

любопытство в глазах погасло. Замужних женщин часто интересует мой развод, они тревожно допытываются, как все было, словно ждут, что я расскажу о своих ошибках и таким образом уберегу их от повторения моей судьбы. Но Вита была слишком вежлива и не опустилась до уровня сплетен.

– Ролс никогда не хотел детей, – продолжала она, ненавязчиво уводя нас от тревожной темы моего бывшего замужества. Она уставилась в окно с краткой и сияющей улыбкой, словно снаружи стоял невидимый фотограф, попросивший ее попозировать. – Он предупредил об этом с самого начала. Всегда говорил, что не захочет делить меня с ребенком. Такой уж он сентиментальный. Хотя мне кажется, теперь он не так в этом уверен, – она потупилась и стала разглядывать свое обручальное кольцо, повертела рукой, и крупный камень тускло блеснул на свету.

Я подождала, но она не уточнила, в чем теперь не уверен муж – в том, что не хочет детей или в своей сентиментальности по отношению к ней.

Она снова перевела взгляд на меня, и я вовремя спохватилась и не стала повторять ее слова бесшумно, одними губами. Я подумала о том, что хотела сказать, а я хотела сказать, что жизнь без детей открывает большой простор для самореализации. Вита села на стул и молча повела плечами, словно стряхивая маленького безобидного жучка. Под горлом у нее был небрежно повязан бантик, блузку из тонкой ткани было почти не видно под пиджаком, и сейчас она поправила болтающиеся концы бантика и ласково их разгладила.

Пальцы у нее были тонкие, а ручки маленькие, как у ребенка, хотя ногти были накрашены темно-вишневым лаком, и тот поблескивал, когда она жестикулировала, а она делала это непрерывно. Я не люблю дотрагиваться до людей, но в тот момент мне захотелось взять маленькую руку Виты в свою ладонь, легонько сжать и успокоить ее пальцы, теребившие бантик на шее. Позже я так и сделала, и ее кожа оказалась холодной, как я и подозревала. Много о Вите я угадала инстинктивно, как наверняка угадываете и вы, общаясь с окружающими. Поначалу мне казалось, что это чутье сверхъестественное, потом я поняла, что так же угадываю, какими окажутся на ощупь растения или земля, прежде чем их коснуться. Однако все, что я угадала про Виту, как оказалось, не имело никакого значения. И вместе с тем легкость, с которой я ее понимала, можно было принять за любовь.

– Ролло работает в городе. Сейчас он там, – она говорила об этом с деланным безразличием выигравшего в лотерею, словно постоянное отсутствие ее мужа было большой удачей, а не необходимостью. – Раньше мы работали вместе, но я постарела, а он нет. Мужчины не стареют, верно?

Еще как стареют, раздосадовано подумала я. Как это не стареют? Что за ерунда.

Тут, видимо, впервые за время нашего разговора недоумение отразилось на моем лице, потому что она поспешила объяснить:

– Они все еще могут выбирать, когда мы уже не можем. У Ролса по-прежнему может быть полон дом детей, – она обвела жестом комнату, словно эти призрачные несуществующие дети бегали вокруг. – А я вот уже не смогу, – она сложила ладони, показывая, что больше не хочет говорить на эту тему, и широко улыбнулась. – А как зовут дочку?

– Долли, – всякий раз называя ее имя, я улыбалась. До сих пор улыбаюсь.

– Мне нравится это имя, – пропела Вита. – Какое красивое! Вита – имя старой бабки.

Я догадалась, что в обычной жизни она никогда бы не сказала «бабка», что она кривлялась, а обычно она говорит «бабушка», и каждый слог звучит четко, как выдох пловца. Я догадалась об этом, потому что моя собственная речь пориста и подражает чужой манере. Пространство между мной и речью, между мной и другими людьми хрупко и изменчиво. Я заметила, что при мне Вита стала мягко тянуть гласные, вероятно, чтобы казаться мне ближе. Я предпочитала звук ее настоящего голоса; она говорила, как одна из сестер Митфорд, как дебютантка в белых перчатках из черно-белой хроники. Я представила, как расскажу Долли о

новой соседке вечером после работы. «Вита не говорит; она щебечет», – так я про нее скажу. Щебечет. Как маленькая птичка.

Вита все еще щебетала:

– ... и если бы я могла выбрать себе новое имя, я бы так и назвалась! Долли.

Она выглянула в сад, будто на самом деле решила сменить имя на новое. *Дол-лей*. Я была готова сколько угодно слушать, как она произносила имя моей дочери. Даже когда она называла ее Доллз. Даже в самом конце. Я бы и сейчас хотела это услышать.

– Вообще-то, это ее краткое имя. А полное – Долорес, как у моей сестры. Моей сестры Долорес, – я повторила это имя, надеясь, что Вита произнесет и его.

Долли назвали в честь тети, а мою мать – в честь ее покойной бабушки по отцу, Марины. Та была старшей из семи детей, считавших ее своей второй матерью; детям было сложно произносить ее полное имя, и ее называли Ма. Я не стала рассказывать это Вите. И не хотела, чтобы она произносила имя моей матери.

– Твоей сестры? Как мило, а они близки? Она здесь живет? – спросила она.

– Нет... и не жила... то есть... моя сестра... ее больше нет. И родителей. Остались только мы с Долли, – я снова не договорила и немедленно пожалела, что вообще начала этот разговор, который неизбежно повлек бы за собой расспросы, возгласы сожаления и – самое неудобное из всего – попытки меня утешить. – В семьях Южной Италии, – проговорила я голосом учителя, отвечающего на вопрос ученика, – издавна существовала традиция называть ребенка в честь недавно умершего родственника, сестры или брата, а все потому, что люди верили в переселение душ. Поэтому в семье несколькими детям могли дать одинаковые имена, называя новорожденных именами их недавно умерших братьев и сестер. Выживших считали баловнями судьбы, ведь в них воплотились души многих, и любили их тоже за двоих или за троих.

Вита терпеливо меня слушала. Когда я наконец замолчала, она повторила мои последние слова.

– Любили за двоих и за троих? Что ж, этих родителей можно понять, – она наклонилась ко мне и взглянула мне в лицо пристально и без малейшего стеснения. Тут мне показалось, что я перешла некую невидимую черту приличий, которую переходить не следовало, сошла с размеченной тропы и ступила на запретную территорию. Я отвела взгляд и выглянула в сад. А она снова подхватила нить нашей беседы с ловкостью матери, подхватившей споткнувшегося ребенка: – Что ж, чудесно, что ты дала дочери семейное имя. Правильно сделала. И я вижу, что ты любишь Долли за двоих.

Ее слова уняли сомнения, которые прежде никогда меня не покидали. Они не принесли полной и безоговорочной уверенности и не окутали меня безмятежным спокойствием, но пробудили во мне что-то спящее. То, что спало, сколько я себя помнила.

Рыба со сверкающей чешуей

На следующее утро после нашей первой встречи, вскоре после того, как Долли ушла в школу, Вита снова возникла у меня на пороге, на этот раз в пижаме. Она не стала говорить: «Привет, это снова я», не извинилась за раннее вторжение. Непринужденно и изящно она прошла по коридору в кухню, как будто приходила ко мне каждый день. Заговорила без приветствия и предисловия, словно продолжив нашу беседу с того места, где та вчера оборвалась. Я давно перестала хотеть и даже разрешать себе верить в то, что смогу с кем-то сблизиться. Но в тот момент мне этого захотелось, и жажда близости затрепыхалась во мне, как встревоженный маленький зверек с крошечным сердечком, бьющимся быстро и четко.

– У тебя есть молоко? У нас в холодильнике вообще ничего, кроме вина. Я ужасная хозяйка. Ролс твердит, что в городе мы бы умерли с голоду, если бы не друзья и рестораны, – сказав «друзья и рестораны», она приставила ладони к внешним уголкам глаз, отгораживаясь ими, как ширмой, посмотрела вниз и медленно покачала головой. Как мим, изображающий стыд для невидимой аудитории. Вита все свои слова сопровождала преувеличенными театральными жестами, и тогда мне это нравилось. Она торжествующе взглянула на меня, блеснув улыбкой и по-прежнему закрывая руками лицо и свои большие глаза: – А что мы тут будем делать?

– Тут есть кафе. И китайский ресторан. Китайский ресторан, где можно заказать еду навынос. Вам понравится, – я успокаивала ее, как успокаивала бы Долли.

Я молча проговорила про себя ее слова: *«ни-чи-во-о-о, кроме вина», «ужа-а-асная хозяйка»; «умерли с го-о-олоду»*. Я пока не понимала, акцентирует ли она слова случайно или в зависимости от их смысла. Сама я говорила монотонно, и Долли иногда передразнивала меня, начиная говорить как робот; мы обе смеялись. «Доб-ро-е-ут-ро-ма-ма», – чеканила она в ответ на мое безжизненное приветствие, и размахивала негнущимися руками и ногами, изображая, что сделана из металла.

Вита ничуть не стеснялась того, что холодильник ее пуст и хозяйка из нее никудышная; напротив, она была этому рада. Я поняла это, взглянув на ее лицо: она широко улыбалась, явно довольная тем, что не ведет такую же жизнь, как большинство женщин на нашей улице. Лицо Виты читалось как открытая книга; она обладала идеальным для этого набором – симметричными чертами и полным отсутствием стремления угодить окружающим. Поэтому читать ее было на первый взгляд легко, как ребенка. На самом деле эта детская непосредственность была личиной, но прекрасно сконструированной. Ее слова тоже пленяли; я раньше и не подозревала, что кто-то может радоваться своей хозяйственной никчемности. Эдит Огилви считала, что *высочайшей и наиболее ценной заслугой любой женщины является умение быть хорошей женой*, хотя мой опыт этого не подтверждал. Вита села за стол на кухне и откинулась на спинку стула, точно делала это каждый день уже не первый год.

Тогда я еще не знала, что у соседей можно попросить любую вещь, даже если это не вещь первой необходимости, а, например, вы просто забыли что-то купить. В книге Эдит об этом ничего не говорилось. Вита вальяжно зевнула, глядя, как я открываю большой белый холодильник, который дед Долли подарил нам на прошлое Рождество. Он проводил инвентаризацию в магазине и заменил устаревшие выставочные модели на более современные, со стеклянными дверцами, окантовкой серебристым металлом и острыми углами. Я обрадовалась подарку, так как не любила покупать дорогие вещи. У меня на счету по-прежнему лежала приличная сумма, но сама я столько не зарабатывала. Тем летом от моего наследства осталась ровно половина, и сложно было сказать, как скоро кончились бы деньги, если бы я вела более расточительный образ жизни. Я живу по принципу «чтобы хватало на самое необходимое», исключения делаю только для Долли.

Я протянула гостье холодную бутылку молока, и та схватила ее обеими руками со счастливым и благодарным видом, какой иногда бывает у людей, когда протягиваешь им чашку теплого чая. Домой она явно не собиралась. Она получила то, о чем просила, но не ушла и продолжала говорить. Я села напротив нее за маленький скромный столик, оставшийся еще от родителей, как и большинство мебели в моем доме. Я не пью ни чай, ни кофе; Долли с малых лет сама научилась заваривать себе и чай, и кофе. Если Вита рассчитывала получить горячий напиток, ее ждало разочарование. На ней была повязка и голубая полосатая пижама с инициалами «Р. Д. Б.», вышитыми темно-синей нитью на груди. Пижама была из тонкой летней ткани, которая почти не скрывала того, что под ней. Я видела, как под легкой тканью приподнималась и опускалась грудная клетка, как колыхались ее маленькие груди, мягкие и ничем не поддерживаемые.

Раньше ко мне никогда не приходили гости в пижамах, и я не знала, входит ли замечание о внешнем виде гостя, явившегося в пижаме, в список запретных тем по Эдит Огилви. Поэтому на всякий случай я ничего говорить не стала. Но, когда Вита сравнила свой растрепанный вид с моей простой и практичной рабочей униформой, покраснела отчего-то я, словно, тактично не упомянув ее пижаму, я солгала или утаила что-то в секрете. На руке у Виты был шрам, довольно большой, во всю кисть, – серебристо-розовая кожа напоминала рыбью чешую и переливалась на свету, когда она вращала в руках бутылку.

Я вспомнила – я часто об этом вспоминала, – что, когда мои родители были живы, вся эта кухня была завалена рыбой; рыбыны лежали на всех столах, раскрыв рты, как доверчивые пациенты. В туристический сезон отец каждое утро возил отпускников на рыбалку на своей лодке и привозил улов домой, а мать чистила и потрошила рыбу, чтобы жены или кухарки этих мужчин могли ее потом пожарить. Мама любила наблюдать за отцовской лодкой из окна своей комнаты; если та возвращалась рано, значит, туристы уже наловили достаточно.

В нашем маленьком доме постоянно пахло озером и рыбой со сверкающей чешуей, что каждый день билась в родительских руках. Мама чистила и разделявала рыбу так же ловко, как местные женщины вязали и шили, хотя ее никто этому не учил, и обращалась с ножом так же искусно, как они с иглой и спицами. Вся кухня была усыпана косточками, тонкими и белыми, как молочные зубы, и выглядела как место недавней трагедии.

– Мои родители ловили рыбу, – сказала я Вите. – Отец был местным рыбаком.

– Мой отец тоже ходил на рыбалку! – восторженно воскликнула она, словно рыбалка была редким и удивительным занятием и очень странно, что оба наших отца этим занимались. – Но больше любил охоту. А твой охотился?

– Нет. Только рыбачил, – ответила я.

Но она уже снова заговорила и принялась рассказывать о том, что сама была метким стрелком.

Пока она тараторила, я разглядывала перламутрово-розовый шрам на тыльной стороне ее кисти; из-за этого шрама Вита почему-то казалась мне хрупкой и уязвимой. Дочь никогда не понимала, каким образом я делала выводы, и предупреждала, что цепляясь за детали, я упускаю из виду самое важное. Но мой ум – неуправляемая сила, движущаяся со скоростью электричества; в моем представлении все между собой связано, и лишь поняв эти взаимосвязи, эти точки пересечения, можно понять мир. Я уже знала, что, когда расскажу Долли об утреннем визите Виты, та рассердится, если я заговорю о ее блестящем шраме и о том, как тот напомнил мне родительскую рыбу, и если скажу, что его нежно-розовый цвет навел меня на мысли об уязвимости нашей новой соседки и о том, что та очевидно в нас нуждается. Моя дочь была прагматиком и не терпела подобных разговоров. Она хотела знать только факты, а не домыслы, и вечером дома я пыталась рассказывать ей только факты. Но никогда не знала, какие из моих ответов ей не понравятся и в какой момент она вздохнет и уйдет наверх в свою комнату.

Долли стыдилась моей одержимости на первый взгляд незначительными деталями и отказывалась обсуждать это со мной, таким образом, как ей казалось, отучая меня от этой привычки. Она вела себя как муж, который хмурится и пинает жену под столом, когда та наливает себе второй бокал вина. Или заводит речь о сицилийских ритуалах. Мой муж был из таких. Он пинал меня под столом, а над столом все это время мило улыбался, и это было хуже пинка, а действовало даже эффективнее. Именно его красивая лучезарная улыбка, а не пинок, заставляла меня замолкнуть.

Я должна была узнать, откуда у Виты этот шрам, потому что та казалась неуязвимой, но кто-то или что-то ее ранило, оставив эту отметину. Я не могла – и до сих пор не могу – представить, как она ломается, как некая сила осмеливается обрушиться на нее и оставить этот след. Когда я думаю о Вите сейчас, первым делом на ум приходит именно шрам, а потом уже остальные части, из которых она состояла. Ведь именно такие детали, выбивающиеся из общего образа, раскрывают суть человека, а не части картины, гармонично складывающиеся в единое целое. Шрам рассказал мне больше о Вите, чем ее благородное произношение, уверенная манера и красивое лицо. Чтобы понять человека, мне нужно лишь собрать ключи, а Долли этого не понимала. Я часами молча сопоставляю услышанное и размышляю, что значила та или иная фраза; почему в тот момент она говорила быстро – сердилась или просто торопилась?

В ходе подобного анализа я редко прихожу к ясному выводу, но по-прежнему убеждена, что существует некий общий код, который можно взломать, система, которую можно постичь. Иногда я пытаюсь представить, какое оно, незатрудненное общение, как общаются с миром Вита и Долли. Потрясенная простотой коммуникации, я воскликнула бы – *о! Так вот в чем дело, понятно! Теперь мне ясно, что вы имеете в виду, я понимаю, чего вы хотите!* Каково это – жить, не утруждая себя трудоемким переводом с языка на тот же язык, слышать и мгновенно понимать, что услышала?

То, что я приняла за повязку, на самом деле оказалось зеленой шелковой маской для сна, сдвинутой на макушку и удерживающей темные волосы Виты. Они падали ниже плеч блестящими плавными волнами, а не мелкими завитушками, отчего Вита выглядела роскошной светской львицей даже в пижаме. Маска для сна казалась еще более интимным предметом, чем ее полупрозрачная пижама; это была настолько личная вещь, что, пожалуй, никто, кроме меня и ее мужа, никогда ее не видел. Вита открутила крышку с молочной бутылки и стала пить прямо из горлышка. Я никогда не видела, чтобы женщина вела себя столь непринужденно и естественно; такой была только Долорес. Моя сестра тоже делала что хотела, открыто и не таясь, не пыталась скрыть удовлетворение и не терпела голод, жажду или зуд, а почесавшись, тихо стонала с облегчением. Я завороченно смотрела на Виту; та поставила на стол полупустую бутылку, над верхней губой остались молочные усы. *Если вы видите, что человек испачкался, уместно сделать деликатное замечание, только тихо и не привлекая внимания окружающих*, писала Эдит.

– У тебя... тут... – я посмотрела куда-то мимо нее и начертила полукруг над своей верхней губой.

– Усы? – спросила она. – Мне идет?

Я взглянула на нее и увидела, что она улыбается, округлив глаза и подперев ладонями подбородок, как кинозвезда. Она картинно захлопала ресницами и даже не попыталась стереть усы. Затем к ней вернулось ее обычное выражение; ей быстро надоело притворяться, что кто-то может усомниться в ее красоте. Она была так хороша собой, что подобное притворство наверняка ее не интересовало. Мне очень нравилось ее лицо; я рассматривала его с удовольствием, как когда-то лицо своего бывшего мужа.

– У тебя очень красивые волосы, – сказала она и спокойно встретила мой пристальный взгляд. – Это твой натуральный цвет? – я хотела ответить, но она предостерегающе подняла руку. – Нет, дай угадаю, я обычно хорошо угадываю, – она вгляделась в мое лицо. – Натураль-

ный, да? – я кивнула. Она потянулась через стол и потрогала прядь моих волос; опершись локтями на стол, принялась внимательно рассматривать прядь, словно оценивала товар. – По ресницам видно. Очень красивый цвет.

Мне понравилось, как она произнесла это «о-о-очень краси-и-и-вый свет», растягивая гласные и смягчая согласные. Казалось, она говорит на незнакомом экзотическом языке, и я молча повторила одними губами: *о-о-очень краси-и-и-вый свет, о-о-очень краси-и-и-вый свет.*

– Удивительно, – продолжала она, – у дочки тоже такие?

Я снова кивнула. Белокурые волосы Долли были одной из немногих моих черт, которые она была рада унаследовать.

Наши волосы казались мне бесцветными и какими-то незаконченными, скорее, серебристыми, чем белокурыми, с холодным голубоватым подтоном, как у моей матери. Дочь всегда гордилась семейной чертой – бледными необычными волосами и кожей, а я боялась, что, начав учиться в школе, Долли поймет, что серебристые волосы и блеклые глаза далеко не все считают красивыми. Но ее одноклассники, видимо, соглашались с ее собственной оценкой, как будто в те несколько лет, что прошли между моим окончанием школы и появлением Долли, где-то провели конвенцию и официально постановили, что отныне наша бледность и белокурые волосы являются не только приемлемой чертой, но и признаком статуса и красоты. А может, в этом была заслуга дочери: окружающие всегда во всем с ней соглашались и сами не понимали, почему не пытались возразить. Она не боялась быть собой и этим притягивала людей.

– А Долли на тебя похожа? – спросила Вита.

Я представила дочь, ее спокойное непроницаемое лицо, как у отца; это лицо с рождения вызывало у всех симпатию. В нашем доме до сих пор много ее фотографий, и мне приятно, что мои редкие гости путают Долли с сестрой и считают, что это одна и та же девочка. Моя сумка лежала на столе, и я показала Вите одно из свежих фото Долли, которые всегда носила с собой. Ношу до сих пор. Фотографии было два года, Долли на ней улыбалась и выглядела румяной и счастливой, хотя на ней была серая школьная форма, а волосы стянуты в строгий пучок. Она смотрела не в кадр, а в сторону, и даже не улыбалась, а смеялась, глядя на что-то или кого-то, оставшегося за кадром. Что именно так ее насмешило, оставалось загадкой.

– Нет, – ответила я, имея в виду, что не стоит судить о Долли по ее матери. Мои свекровь со свекром не уставали это повторять. – Она очень умна. Собирается поступать в университет. На математику. В Кембридж.

Вообще-то я не должна была обсуждать Кембридж ни с кем, кроме бабушки и дедушки Долли, но при Вите почему-то не удержалась. В ее присутствии самое невероятное казалось возможным. В ее мире девочки поступали в университеты каждый день, ходили на балы в длинных пышных платьях, путешествовали с дорогими чемоданчиками и верили, что в жизни с ними может случиться только хорошее.

– Это же прекрасно! Красива и вдобавок *умна*, – последнее слово Вита произнесла торжественным шепотом, словно речь шла о каком-то экзотическом и даже неприличном качестве. – В тебя, наверное?

– Нет. Я даже школу не закончила. Бросила накануне выпускных экзаменов. Я осталась одна и... не было у меня таких способностей, как у Долли.

– А я училась в Кембридже. На истории искусства, – ее голос вдруг стал выше и тоньше, чем был, а с губ слетел маленький бесцветный смешок.

Я вежливо посмеялась за компанию – *ха!* – словно соглашаясь, что нет ничего смешнее, чем изучать историю искусства в Кембридже. Вита пристально посмотрела на меня и нахмурилась; ее засохшие молочные усы потрескались. Я перестала смеяться. Если бы я закончила университет и могла похвастаться образованием, я не стала бы смеяться. Обсуждая университетское будущее Долли, мы всегда говорили об образовании уважительно, по крайней мере, я. Сама я обычно притворялась, что образование не для меня. Несложно перечислить все при-

чины, почему я не смогла бы учиться в университете: много народу, шумно, постоянные социальные контакты, ученая среда, и в итоге меня неизбежно отчислили бы. Но иногда я думаю обо всех книгах, которые могла бы прочитать, и обо всех возможностях, и понимаю, что есть вещи выше и важнее моих страхов. Университет вызывал у меня те же чувства, что отец Долли, Король. Ярость, оттого что мое желание не могло быть удовлетворено, и стремление обладать чем-то, что явно было мне не по зубам. Я желала обладать этими прекрасными вещами, но из-за своего внутреннего устройства была не в силах совладать с их последствиями.

– ...а вот Ролс тоже учился на математическом, – говорила Вита, чья улыбка стала более осторожной. – В Кембридже мы и познакомились. Ему было девятнадцать, а мне – двадцать восемь. Я была уже *старой студенткой*, – последние слова она произнесла медленно, словно не своим голосом, и рассмеялась их абсурдности.

– Но почему? – спросила я.

Она улыбнулась.

– Что почему?

– Почему тебе тоже было не девятнадцать?

Она вздохнула и затихла на секунду.

– Я была помолвлена, дорогая. Очень долго... но ничего не вышло. И я... я очень расстроилась, – произнесла последнее слово, она поморщилась, и промелькнувшая на лице боль мгновенно испарилась. Словно маленькая невидимая рука тихонько ее ущипнула. Она широко улыбнулась и продолжила: – Папа сказал, что мне нужно поехать в Европу залечить душевные раны; у нас родственники во Франции и Голландии. Но моя двоюродная сестра училась в Кембридже, и так я оказалась там. *Старая студентка*, – последние слова она снова произнесла другой, не своей интонацией. – А Ролс был обычным студентом. Самым что ни на есть. Он даже пропустил выпускные экзамены ради скачек, но никогда в этом не признается. Я скажу, чтобы он поговорил с Долли при встрече. Он обожает математику и может говорить о ней часами. Бедняжка Долли! Что ее ждет? – она перестала улыбаться и посерьезнела, хотя молочные усы по-прежнему белели над верхней губой.

Она подняла руку, пригладила волосы и положила руку на грудь. Похлопала по пижамной рубашке, словно нащупывая в карманах потерянный предмет, потом вдруг словно вспомнила, что неподобающе одета, и тяжело вздохнула, как от усталости. Снова указав на свой наряд, тихонько и безнадежно взмахнула длинными пальцами:

– Я даже вещи еще не разобрала, Сандей. Не хочу, и все. Нет настроения. Даже одежду никак не разберу. Так что у меня есть только костюм, в котором я приехала, но он грязный, – она задумалась, словно прикидывая, кто должен чистить ее костюм. – Ролс решил остановиться у Тома... хотя нам предлагали дом на юге Франции... но он решил ехать сюда, и я сказала: вот сам и разбирай вещи, – на миг мне показалось, что передо мной Долли: та часто вот так капризничала вслух. – Мы взяли с собой только одежду и несколько любимых вещей, наши картины; остальное отправили на склад. Хотя теперь, увидев дом изнутри, я даже не знаю... А грузчик вчера оказался очень милым, даже предложил задержаться и помочь все распаковать.

Естественно, подумала я; кто не захочет остаться в компании этой женщины? С ней хотелось находиться рядом и помогать даже бесплатно.

– Но я отказалась, – продолжала она, доверительно понизив голос. – Не хочу, чтобы Ролс расслаблялся, дорогая. Поеду сегодня в город и куплю все новое. И буду покупать что хочу, пока он не приедет и не разберет вещи.

Она выпрямилась на стуле, потеряла ладони и улыбнулась мне – точь-в-точь довольный ребенок.

– А когда он приедет?

– Надеюсь, нескоро, дорогая, иначе я не успею купить кучу новой одежды.

Она снова перестала улыбаться, брови вытянулись в две прямые темные линии, а молочные усы так никуда и не делись. Рот у нее был маленький, бантиком, верхняя губа слегка выступала вперед, и я представила, что на фотографиях это должно выглядеть очень эротично – и оказалась права. Резко очерченный клювик-рот делал ее похожей на птичку.

Когда мне удавалось завладеть полным вниманием Виты, я словно погружалась в озеро с холодной водой, окутывающей меня со всех сторон. В озеро, чьим именем был назван мой городок и куда приезжали туристы с фотоаппаратами и корзинами для пикника. В озеро, где я регулярно плавала, пока оно, невидимое и непрошеное, не разлилось и не накрыло мою семью. Когда-то я была с этой водой на «ты», как может только умелый пловец; я знала, что при погружении сперва испытываешь легкий шок, сообщающий о внезапной смене температуры, а потом все тело немеет под водой, и ты уже перестаешь понимать, холодно тебе или жарко; через некоторое время организм привыкает, и к конечностям возвращается чувствительность, разливаясь приятным теплом, как от укола морфия. Однажды утром мы с сестрой стояли на берегу и готовились окунуться; к нам подошел мужчина. Он шел по берегу, спотыкаясь на крупной гальке, но не сводил с нас глаз, словно у него была цель. Он сказал, что в первые секунды после погружения в холодную воду нельзя плыть, нужно просто парить в воде, пока тело не привыкнет к температуре. Мы кивнули и ушли, ничего не ответив. Незнакомец просто сообщил нам важную информацию коротко и профессионально, как полицейский, предупредивший автомобилиста, что у того не работают тормозные огни.

Общаясь с Витой, я поняла, что он имел в виду; я замирала и отдавалась первоначальному шоку – и это получалось у меня естественно. Вита окутывала меня как ледяная вода. Под ее взглядом я парила в невесомости, как когда-то парила в холодных темных водах озера с сестрой. Это было сродни чувству безопасности.

Вита по-прежнему тараторила:

– ...поехать со мной? Но ты, наверно, *работаешь*? – последнее слово она произнесла как незнакомое иностранное имя, которое ей было сложно выговорить правильно.

– Да. И я уж лучше пойду на работу, чем по магазинам за одеждой.

Ее взгляд был прикован ко мне, но она замолчала, и я заметила, как прервался привычный ритм ее речи. До сих пор она делала лишь краткие паузы в разговоре, когда ждала ответа, а слова выстреливали из нее, как залпы фейерверков, с небольшими промежутками – *та-та-та-та-та-та-та* – пауза – *та-та-та-та-та-та-та*. Я невольно задумалась, встречалась ли эта очаровательная женщина когда-либо с отказом.

Потом она улыбнулась и хлопнула в ладоши, как старлетка в немом кино.

– Ах, как мне нравится! – воскликнула она. – Обожаю честность, дорогая. Гораздо проще говорить, что думаешь, верно? Спорим, среди местных это редкость? В маленьких городках все такие вежливые. Сидят у себя дома и думают, что скажут соседи, – она округлила глаза и сложила губы буквой «О», изображая шок и прижав к щекам ладони. Затем рассмеялась и похлопала меня по колену, мягко накрыв его своей ладонью. – А мы не такие, да, Сандей? – она убрала руку, снова взяла бутылку и заговорщически мне улыбнулась. – Другие соседи наверняка не такие, как мы.

Ответа она не дождалась, и хорошо, потому что в книге Эдит было черным по белому написано, что критиковать соседей недопустимо. Она допила молоко из бутылки, поставила пустую бутылку на стол и развела руками, как гость на вечеринке, опрокинувший стаканчик. Нет, подумала я, другие соседи не такие, как мы с Витой. Не такие, как *мы*. Мы отличались от них, и это делало нас похожими друг на друга. Я никогда раньше не встречала человека, который радовался бы сходству со мной. До знакомства с Витой я считала себя чем-то вроде старого кривоватого глиняного горшка. Но если Вита ценила человеческие странности, почему бы мне тоже их не ценить? Мне казалось, что в Вите я встретила человека своего племени, а прежде считала, что оно вымерло и я – его единственный оставшийся представитель.

Она встала и снова улыбнулась мне своей чудесной улыбкой с молочным краем. Тут я заметила, что она принесла с собой строгую сумочку и усадила ее на отдельный стул, как любимую собачку. Одним легким движением она притянула сумочку к груди и ласково погладила мягкую кожу.

– Так, – сказала она, – значит, я иду по магазинам. Ролс оставил мне свою дурацкую машину. Я ее терпеть не могу, но он говорит, что это единственная в мире вещь, которую он любит так же крепко, как и меня. А тебе хорошего дня на *работе*, – последнее слово она нарочно подчеркнула и бросила на меня многозначительный взгляд, словно это был эвфемизм для чего-то неприличного, и мы, как старые подруги, договорились использовать его из вежливости, а на самом деле я ни на какую работу не ходила.

Я проводила Виту до двери и с порога проследила, как она подошла к красной машине мужа и открыла багажник. Я тоже с первого взгляда возненавидела эту дурацкую машину. Она достала из багажника ботинки со шнурками на плоской подошве и тонкий розовый свитер, села на тротуар и надела ботинки, а потом свитер прямо поверх пижамы. Она держалась с непосредственностью ребенка, которого заботит лишь удобство. Долли всегда говорила, что выходить на улицу в пижаме неприемлемо, даже на минутку в магазин, даже если накинуть сверху пальто. А мне казалось, в этом нет ничего такого. Сейчас мне даже нравилось, как выглядела Вита. Она встала, весело мне помахала и ничуть не удивилась, что я стою на пороге и все еще смотрю на нее. Я вернулась в дом, лишь когда ее машина скрылась из виду.

Несмотря на мой интерес к Вите, я знала, что даже в ее компании не смогу получить удовольствия от похода по магазинам. В душных магазинах одежды я думаю лишь о том, где ближайший пожарный выход, в то время как другие женщины в них становятся спокойными, как домашние питомцы. Яркий верхний свет заставляет их смотреть вниз, где так удобно расположены вешалки с одеждой. Ощупывая вещи своими тонкими мягкими пальцами, женщины раздумывают, покупать или не покупать, но я никогда не понимала, как они делают выбор. Как не понимала и их удовольствия от обладания новой вещью, которую кассир кладет в пакет; и покупательница выходит из магазина, прижимая пакет к груди с таким видом, будто в нем хранится заветная тайна.

Когда мне было семнадцать, я пошла в магазин выбрать платье для похорон сестры и засмотрелась на другую покупательницу, худенькую темноволосую женщину. Та выбирала одежду, поглаживая, казалось, случайные вещи быстрыми порхающими движениями рук, затем отходила на шаг назад и пристально смотрела на них в молчаливом раздумье. Я ходила за ней между полок и тоже поглаживала каждый предмет одежды, до которого она дотронулась, а потом отходила в сторону и пристально смотрела на него. В конце концов женщина выбрала блузку с пестрым узором и поспешно зашагала к кассе. На ткани были изображены маленькие петушки в зеленых шляпах набекрень; они плясали среди накренившихся бокалов с мартини, а в каждом бокале торчала оливка с сердцевинкой из красного перца, и именно в эту сердцевинку в форме сердца была воткнута зубочистка. Я приложила ладонь к такой же блузке на вешалке и закрыла глаза в ожидании чуда. Но гладкая ткань под ладонью не шелохнулась, холодная и мертвая в беспощадной духоте магазина. Я все равно купила эту ужасную блузку и надела ее на похороны сестры, а потом и на похороны обоих родителей в том же году. Это был первый из четырех моих прыжков веры; вторым стал Король, материнство – третьим. Последним стала Вита.

Зимние пчелы

После первой встречи Вита ни разу не спрашивала об отце Долли, и я засчитала это ей в плюс. Она поняла, что упоминание о нем для меня болезненно, и не стала допытываться. Сталкиваясь с нежеланием собеседника говорить на какую-либо тему, она мгновенно теряла интерес и чувствовала это нежелание заранее, до того, как собеседник выказывал его явно. Эта деликатность в общении, видимо, объяснялась ее принадлежностью к высокому социальному классу, потому что местные женушки замучили меня расспросами, почему я не замужем, и я уже привыкла от них отбиваться. Тактичность Виты полностью соответствовала описанным Эдит Огилви подробным *правилам деликатного общения с женщинами, пережившими такую неприятность, как развод*.

После моего первоначального краткого ответа она просто ни о чем не спрашивала, и я была благодарна ей за это. У меня давно были заготовлены фразы общего характера, которыми я отвечала на любые вопросы об окончании моего брака, – *это случилось давно, я привыкла быть одна, все в прошлом*. Если меня спрашивали, я отвечала только так и больше ничего никому не говорила. Даже Вите необязательно было знать мою историю от начала до конца. Кому-кому, а ей я не хотела сообщать, какую сильную обиду мне нанесли. Я влюбилась по уши в отца своей дочери, влюбилась в восемнадцать и совершенно потеряла голову. И до сих пор не оправилась. Если бы на момент нашей встречи я уже не была странной, если бы меня окружали люди, которым было до меня дело и которых заботило ухудшение моего состояния, можно было бы сказать, что он меня околдовал. Но он был обаятельным мужчиной, которого все любили. И наш роман все воспринимали только с его точки зрения; поэтому в общепринятой истории о нашем браке я была настолько ущербной, что даже такой человек, как Король, не смог сделать из меня нормальную жену.

Мы познакомились вскоре после того, как его семья переехала в город горящих полей. Его родители унаследовали крупнейшую в районе ферму и открыли магазин, где продавали фермерскую продукцию – настоящую деревенскую лавку в большом амбаре. Лавка пользовалась популярностью и у местных, и у туристов; там я впервые и познакомилась с Алексом, вернувшимся домой из университета на летние каникулы. Его родители сказали, что я была единственной, кто откликнулся на написанное от руки объявление о поиске работников, лежавшее у них на прилавке, и взяли меня на работу в теплицы без собеседования.

Я проработала на ферме три года, Алекс закончил университет и вернулся домой. По вечерам после работы я проигрывала в голове все приятности, которые он говорил мне в теплице. На юге Италии существовала традиция: в гостях у любимой девушки мужчина мог сесть, только если она сама предлагала ему стул. Это имело символический смысл: если жениху предлагали стул, значит, его рассматривали в качестве будущего мужа. Когда Алекс приходил ко мне в теплицу, он садился на один из крепко сколоченных деревянных столов. Я обычно стояла, ведь я работала, но, ухаживая за молодыми саженцами, садилась на стул, напоминая себе, что с саженцами надо быть ласковой и не надо торопиться. Старый деревянный стул за годы отполировался, как стекло, и сиял, как камень, до гладкости омытый водами озера. Когда Алекс приезжал домой, я прятала стул под рабочим столом в глубине теплицы. Я не предлагала ему стул, но он и не просил.

Иногда я приносила в подсобку саженцы, предназначавшиеся для продажи, и подслушивала, как он разговаривал с покупателями. Тогда-то я и придумала ему прозвище «Король». Я до сих пор не называю его по имени. Мне никогда не нравилось, как люди беспечно бросались этим именем. «Алекс-Алекс-Алекс-Алекс», – вставляли они через слово, требуя его внимания, вертя его имя на языке, присваивая его себе. Когда я рассказала Королю о его тайном прозвище, тот восторженно рассмеялся без тени смущения. В первые годы нашего брака он

даже обыгрывал это прозвище, возвращаясь домой после работы и крича суровым театральным басом: «Встречайте Короля! Где мои подданные?» Дочка визжала от радости, стоило ей только услышать этот бас. Показательно, что именно эта игра была у них любимой: он говорил не своим голосом, а она восторженно бежала навстречу этому притворному образу. Я же лишь посмеивалась, стоя в сторонке. Сейчас я смеяться не стала бы.

Король был фильмом, который я каждый вечер смотрела одна. В том году, когда он окончил университет, в конце лета я принесла в магазин саженцы. Расставляя их на столе, он заговорил со мной, не поднимая глаз.

– Я решил путешествовать. Уезжаю в следующем месяце.

Тон у него был доверительный и виноватый, словно прежде он дал мне обещание и теперь собирался его нарушить. Я не вымыла руки, к пальцам прилипли теплые комочки земли, и я сжала кулаки, сосредоточившись на ощущениях в ладонях. Король что-то говорил, но я уже не слушала. Он коснулся моего плеча – легко, без нажима, словно показывая наблюдателям, как играть героя, сдерживающего свои чувства. Он выжидающе смотрел на меня, а я ответила, по-прежнему концентрируясь на теплых комочках земли в своих ладонях:

– Нет, – сказала я, не совсем понимая, к чему относилось это «нет» – к его плану уехать путешествовать или невесомому касанию его руки.

– Нет?

– Нет, – с этим словом я вышла из лавки, по-прежнему ощущая в ладонях вибрации теплой мягкой земли. Та наполняла мои руки и голову тихим угрожающим гулом, жужжа, как пьяные от сна зимние пчелы.

Он пошел за мной. Король никогда не бегал за девочками – те сами к нему приходили. Ждали его безропотно и безысходно, как пациенты в приемной дантиста, раскрасневшиеся от предчувствия боли. За мной он бегал, потому что до встречи со мной никогда ничего не хотел, и я была единственным, что не преподнесли ему на тарелочке.

Он так и не отправился путешествовать. Я напоминаю себе об этом сейчас, глядя, как он с хозяйским видом расхаживает по родительской ферме рука об руку с красивой второй женой. Вместо этого менее чем через год я родила ему дочку. И, как положено добропорядочной сицилийке, которой я, увы, не являлась, назвала ее в честь тети, которую ей не суждено было узнать, в честь девочки, утонувшей не в воде, а на суше. В честь моей любимой Долорес.

В детстве наши пожилые соседи ловили сорок на живца: держали сороку в клетке, другие сороки прилетали к ней, а клетка была устроена так, что туда можно было влететь, но не вылететь. Артур и Фрэн считали сорок вредителями, так как те кормились яйцами более слабых птиц, а то и их птенцами. Сорока-приманка жила у них много лет, они даже имя ей дали, как домашнему питомцу, – Роберт. Каждый день Роберт зазывал своих друзей на смерть и пел залиvistую песнь не потому, что в клетке ему было одиноко, а потому, что хотел угодить своим хозяевам, с которыми вступил в преступный стовор. Его злой умысел не преуменьшал красоты этой песни, но в его сине-черной груди билось жестокое сердце. Артур и Фрэн душили пойманных сорок на еженедельной церемонии казни, кульминацией которой было сжигание их маленьких трупиков на костре; иногда мои родители присоединялись к этому ритуалу, и четверо взрослых стояли неподвижно и смотрели в огонь, не вздрагивая, даже когда пламя охватывало очередную тушку и разгоралось сильнее, а искры сыпались в глаза.

Когда мне было четырнадцать, Артур умер от сердечного приступа. В день похорон Фрэн выпустила Роберта. Мои родители стояли в саду; притихшие, в черных костюмах, они шепотом обсуждали, стоит ли ее навестить. Позже отец тихо и обеспокоенно сообщил нам с сестрой, что они слышали, как Фрэн плакала, трясла ловушку и прогоняла Роберта, но тот не хотел улетать, а пытался залезть обратно в клетку. После смерти Артура Фрэн запустила сад и лишь иногда соглашалась на уговоры отца, предлагавшего постричь ее лужайку. Он окликал ее из-за забора, а она безразлично поводила плечами, сидя в пластиковом садовом кресле. Не глядя на

отца, она делала равнодушный жест рукой, в которой всегда была зажата сигарета. Она словно говорила *«как хотите»*, будто оказывала ему услугу.

Пустую клетку закрыли, но сорока часто садилась на ее изящную решетчатую крышку и обиженно смотрела исподлобья, как пьяница смотрит на закрытую дверь бара. Только Фрэн могла с уверенностью сказать, была ли эта сорока их Робертом. Прилетавшая сорока всегда была одна, а на голове и крыльях у нее виднелись проплешины от драк; возможно, это был Роберт, за свою бытность тюремщиком растерявший, видимо, навыки дикой птицы и любивший неволю.

Томление, с которым девушки смотрели на красивое лицо Короля, когда тот манил их своей песнью, и легкость, с которой он их околдовывал, были не чем иным, как хитростью сороки. С высоты перья сороки, сидящей в ловушке, должно быть, тоже казались другим сорокам необычайно блестящими. Лишь потом, оказавшись рядом с ней в тесной клетке, те понимали, что ее крылья не блестели, а лоснились от жира, потому что она никогда не летала.

Говорите громче, говорите нормально

Из-за того, что Вита неожиданно зашла за молоком, я пропустила первый автобус и опоздала на ферму, хотя никогда не опаздывала. Я всегда отработывала больше положенных рабочих часов. В теплицах всегда царит чудесная тишина, в них не заходит никто, кроме меня, иногда еще Дэвид, но тот сам по себе тихий. Когда я работаю, темная шелковистая земля в моих руках действует на меня успокаивающе, как сила земного притяжения, утешает и ложится в ладони приятной тяжестью, словно желанное объятие.

У меня беспокойные руки. Шероховатый кирпич, глянцевые листья растений, холодные дверцы машин – все жаждет моего прикосновения, когда я иду по улице. В очереди в магазин дребезжащая музыка тонет в темных курчавых волосах женщины, что стоит передо мной, так и хочется провести пальцем по кудрям-червячкам, ползущим по спине ее толстого шерстяного пальто. Выходя на люди, я обычно сжимаю руки в кулаки и игнорирую молчаливые призывы всех тех вещей, к которым нельзя прикасаться. Призывы звучат особенно громко, когда в глаза бьет яркий свет и вокруг очень шумно. Я родилась нетерпимой к шуму и свету и жадной до запахов и прикосновений – работа с растениями помогает временно исправить этот сенсорный дисбаланс.

Заходя в теплицы, я оставляю свое состояние под дверью. Когда работаю одна, мое состояние спит снаружи, положив темную голову на лапы. В теплице отсутствует стимуляция, здесь никто не говорит загадками и не смотрит на меня странно. Это волшебное место, лишенное социального контекста и бремени общения. Но в обществе людей этот зверь сопровождает меня неотступно – улыбчивый спутник, чья железная хватка похожа на заботу, но на самом деле напоминает, кто я на самом деле. Царапая кожу жесткими усами, мой волк-жених шепчет мне в ухо: *говори об Италии, говори, и не смотри им в глаза, о нет, им это совсем не нравится; смотри на пол, на стену, а не слишком ли громкая музыка, Сандей, не слишком ли яркий свет?* В сицилийском фольклоре полно таких волков, и женщины знают, что в определенные дни, например, в канун Рождества, не следует пускать мужа за порог после первого стука в дверь, а следует дожидаться третьего. Говорят, одна женщина поздно ночью спросонья открыла дверь после второго стука. Муж ее съел, так как не успел еще принять человеческое обличье и оставался оборотнем – лишь после третьего стука он вновь становился человеком. Будь я сицилийской женой, меня никогда бы не съел волк: я люблю четкие правила и умею им следовать. Но я вышла замуж за английского Короля, и волк сожрал меня на пороге моего собственного дома.

Я все еще открывала двери теплиц, когда Дэвид пришел на утреннюю смену. Сегодня он работал полдня: родители пригласили его на обед. На следующий день ему исполнялось двадцать пять лет, и им хотелось поздравить его по пути в аэропорт – они уезжали в двухнедельный отпуск в Италию. Несмотря на мою одержимость Италией, я никогда там не была и надеялась расспросить Дэвида, где его родители планировали остановиться и что хотели увидеть, но Дэвид не мог мне об этом рассказать. К моменту возвращения их младший сын должен был от них съехать и поселиться в коттедже, который молодые рабочие фермы снимали вскладчину у родителей Короля. Родители Дэвида никогда раньше не были на ферме; их маленький черный автомобиль остановился в бетонном дворике у теплиц ровно в час дня. На наших проселочных дорогах трудно поддерживать чистоту черного автомобиля, и я невольно восхитилась тем, с каким упорством родители Дэвида это делали.

Дэвид по-прежнему часто опаздывает минимум на десять минут, и, по идее, это должно меня волновать, и волновало бы, будь на его месте кто-то другой. Но мне нравится, как он приходит: заходит тихо и, если я его не замечаю, начинает работать, не здороваясь. Король или Вита всегда заходят в какое-либо помещение с помпой, ожидая, что их заметят, как фокусники

с лучезарной улыбкой и кроликом в затянутой в перчатку руке – *та-дааам!* Когда я вышла за Короля, он вздрагивал, увидев меня, – *чего ты крадешься? Неужели не можешь зайти, как все нормальные люди?* Мать часто говорила то же самое. Тем же тоном. Мне становилось не по себе оттого, что всю мою жизнь меня каждый день критиковали две версии, по сути, одного и того же человека – муж вторил неодобрению матери.

Тем утром я оторвалась от посадок и восхитилась умелыми и осторожными руками Дэвида и зеленью за его спиной, которую он высадил безупречно ровными рядками.

Я помахала ему, он поднял вверх большой палец и описал полукруг перед грудью: *доброе утро*. Его жест выглядел, как всегда, весело и легко, словно пожелание доброго утра было лишь одной из многих приятных мыслей, крутившихся у него в голове.

Если бы кто-то говорил вслух так, как Дэвид на языке жестов, его речь можно было бы назвать убаюкивающей и мелодичной, как речь мистера Ллойда, валлийца лет пятидесяти с хвостиком, постоянного покупателя фермерского магазина. Когда мистер Ллойд начинает говорить о сезонных овощах и влиянии прогнозируемых осадков на сельское хозяйство, его спокойная музыкальная речь звучит как песня. Я закрываю глаза, слушаю его, и, кажется, готова его полюбить. Ему часто приходится повторяться, потому что я заслушиваюсь колдовским звучанием его слов и не улавливаю их смысл. Но мистер Ллойд никогда не сердится, когда я прошу его повторить еще раз. А если ему кажется, что другие покупатели говорят слишком тихо или нечетко, он вежливо им об этом сообщает.

На языке жестов я говорю так же кратко и невыразительно, как вслух; однажды я спросила у Дэвида, правильно ли жестикулирую, и тот указал мне на эту особенность, как всегда, деликатно и с улыбкой.

Но я так говорю! Вслух я так же говорю! – сердито заметила я однажды, когда он снова сделал мне то же замечание. *Долли меня за это дразнит. Еще не хватало, чтобы ты дразнил.*

Он серьезно посмотрел на меня. *Я знаю, как ты говоришь. Я,* – он дотронулся до глаза двумя пальцами, а потом указал на меня, – *вижу тебя. Я вижу тебя, Сандей, я все еще тебя вижу.*

Все еще сердясь, я сжала крепкий кулак и ткнула себе в лоб большим пальцем. *Я знаю!* Потом повернулась к растениям, с которыми работала.

Дэвид резко постучал по столу, и я подняла голову. Моя угрюмость, как всегда, никак на нем не отразилась; он широко улыбался.

Хорошо, что на языке жестов ты говоришь намного лучше, чем вслух. Он бойко жестикулировал и напоминал человека, неосознанно пританцовывающего под звуки далекой песни; его движения были легкими и свободными, округлыми, в отличие от моих.

Дэвид по-прежнему работает со мной почти каждое утро, а после обеда уходит на ферму. В период сбора урожая он нужнее на поле, и, бывает, не приходит в теплицы по несколько недель. В это время мне не хватает его молчаливой компании. Он умеет читать по губам и четко говорит, потому что лишился слуха через несколько лет после рождения. Однажды он мне об этом рассказал. В пять лет он заболел менингитом и очнулся в больнице в новой реальности: все вокруг было таким же, как раньше, только без сопровождающих звуков. Персонал больницы и его родители открывали двери, ходили по комнате и наливали воду в стакан в тишине, как призраки. А когда наклонились к его кровати и заговорили, их губы шевелились гораздо быстрее, чем он привык, и наконец он понял, что это не обман: их голоса тоже сломались.

Говорите громче, велел он. Говорите нормально! Но своего голоса он тоже не услышал.

Все это он объяснил мне однажды утром в теплице, после того как поссорился с родителями (его отец был врачом, а мать домохозяйкой) – те не хотели, чтобы он работал на ферме, а хотели, чтобы он поступил в университет, как двое его братьев. Но Дэвид не доверял им и их намерениям и относился к родителям с подозрением, словно все еще оставался ребенком и верил, что это они нарочно отобрали у него звуки действительности.

Родители Дэвида не стали учить язык жестов и настаивали, чтобы в их присутствии он читал по губам и говорил вслух. В детстве, когда ему хотелось показать, как он научился говорить на новом языке, они иногда заставляли его садиться на собственные руки, чтобы он не изъяснялся жестами. Моя мать установила такое же правило в нашем доме, чтобы я не шелкала пальцами и не хлопала в ладоши, а потом, когда ей почти удалось отучить меня делать это при всех, следила, чтобы я не теребила волосы, по крайней мере, в ее присутствии. Я прекрасно понимаю, почему Дэвид предпочитает говорить на языке жестов, а не голосом, которого не слышит и даже не знает, как он звучит, ведь это уже не голос пятилетнего мальчика, а голос взрослого мужчины. Мы оба любим работать в тишине, а в большой теплице изъясняемся на языке жестов, глядя друг на друга поверх рядов саженцев.

Родители Дэвида зашли в теплицу и громко поздоровались:

– Здравствуйте-здравствуйте! Мы здесь!

Я вздрогнула от их чрезмерной громкости и поняла, что ожидала увидеть их такими, какими они были в детстве Дэвида, – думала, они будут шевелить губами, притворяясь, что произносят слова, при этом издевательски не произносить ни звука. Я поймала себя на том, что пристально разглядываю их лица. Дэвид унаследовал их самые привлекательные черты. Круглые карие глаза матери вместо блеклого застывшего взгляда отца, благодушную открытую улыбку последнего вместо поджатых недовольных губ и маленького выпяченного подбородка матери. Седовласые, одетые в темно-синий и бежевый, его родители могли бы сниматься в рекламе роскошных круизов или частной медицинской клиники, сыграв пару богатых пенсионеров. На шее матери Дэвида висело ожерелье с остроконечными подвесками; оно растянулось от ключицы к ключице, как спящая сторожевая собачка. Мать и отец Дэвида направились ко мне, синхронно протягивая руки; я подняла запачканные землей ладони в предупредительном жесте. Они тут же остановились и помахали мне издали.

Дэвид мыл руки в маленькой раковине у входа. Отец подошел к нему и крепко похлопал его по спине. Раковина висит низко, как будто рассчитана на детей, и Дэвиду приходится наклоняться, чтобы вымыть руки. Мы с ним придумали легенду, что раньше в теплице работали маленькие человечки; легенда постоянно обрастала красочными и абсурдными деталями. В тот день, однако, поза Дэвида – сутулые плечи и согнутые колени – скорее свидетельствовала о капитуляции, чем о необходимости наклониться из-за высокого роста.

– Чем планируете заняться в отпуске? – спросила я, стараясь говорить громче, так как они стояли в другом конце теплицы.

Я нарочно повторила тот же вопрос на языке жестов, хотя Дэвид меня не видел.

– Мы едем в Италию! В Италию! – хором ответили они и улыбнулись.

– Я знаю. А куда именно в Италию? – в этот раз я повторила на языке жестов лишь отдельные слова: *куда, вы, Италия*.

– Мы едем на... озеро Комо! – проговорил отец Дэвида с интонацией человека, произносящего праздничный тост. Его жена внимательно смотрела на него, словно он сказал что-то очень умное.

Я пожала плечами.

– Что ж, – повторять свое «что ж» на языке жестов я не стала.

Они ехали не на юг, но, кажется, были довольны своим выбором. Я задумалась, не рассказать ли им немного об истории Сицилии. Потом взглянула в их счастливые лица и вернулась к своим посадкам.

– Мы очень рады, – сказала мать Дэвида.

Я ничего не ответила и продолжила заниматься саженцами. Что можно ответить людям, которые рады побывать на озере на севере Италии, но решили не ехать на юг этой страны? Я сожалела об их ошибке, но они сами сделали этот выбор, пусть сами с ним и живут.

– Дэвид, пойдем, – сказали его импозантные родители своими громкими голосами. – Нам пора, – при этом они не сдвинулись с места – остались стоять лицом ко мне, словно договорились об этом заранее.

В этот момент говорящий человек должен был показать на дверь или на машину, но эти двое, казалось, нарочно не шевелили руками. А Дэвид стоял у них за спиной и не догадывался, о чем речь. Тогда они обратились ко мне и заговорщически произнесли:

– Вечно он задерживает, да?

Они выжидающе смотрели на меня, и я выдохнула: «Ха!» и вернулась к своим посадкам. Мне не нравились эти двое с их рекламными костюмами и равнодушием к собственному сыну. Наконец они отвернулись от меня, Дэвид помахал мне рукой и пошел за ними к машине. Я радушно помахала ему в ответ.

Он натянуто улыбнулся и нарисовал на груди большой круг: *извини*.

Тут я впервые заметила, как хорошо он одет. На нем была темно-синяя рубашка в клетку, совсем не мятая, видимо, новая – я знала, что Дэвид не пользуется утюгом. И брюки такого же глубокого синего цвета, темные, свежие, совсем не похожие на остальной его гардероб. Он принарядился для родителей, и от этого я невзлюбила их еще сильнее.

Я улыбнулась ему и четко проговорила на языке жестов, чтобы он точно увидел: *все в порядке*. А потом вернулась к работе.

Под вечер я вернулась в дом, где царила тишина, и сразу догадалась, что Долли еще не пришла. Летом костяк дома ссыхается и деревянная дверь открывается без скрипа. А в дождливое время года двери и окна разбухают от влаги, как человек, страдающий отеками, или съевшая волшебный пирожок Алиса, чьи туфли уменьшились, а кольца врезались в пальцы. Зимой двери не открыть без усилия; сквозняки дуют в щели в подъемных окнах, которые как будто никто не замерял перед установкой. Я погладила теплый кирпич крыльца и зашла в дом, затем поднялась наверх принять душ перед приходом Долли. Из окна комнаты увидела на лужайке Витино сада какой-то белый пушистый предмет; тот лежал неподвижно, как несколько дней назад лежала сама Вита. Я решила, что кто-то бросил мягкую игрушку, но игрушка вдруг подскочила и забежала в дом, словно спасаясь от невидимого преследователя, и тогда я поняла, что это маленькая собачка с острой мордочкой и шелковистой длинной шерстью.

Вечер был теплый, и я оставила стеклянные двери открытыми. Я готовила ужин и пекла торт на день рождения Дэвида. Этот торт был нашей традицией, и я до сих пор ее соблюдаю, так как Дэвид счастлив моим тортам, какими бы они ни вышли. Я никогда не пеку торты на день рождения дочери; куда им до впечатляющих произведений искусства, которые ее бабушка с дедушкой каждый год заказывают в местной пекарне. На шестой день рождения Долли взглянула на торт, который я испекла, и велела больше не утруждаться. А надо было не слушать ее и продолжать.

Взбивая сливочный крем для именинного торта Дэвида, я слушала Виту, которая тараторила в саду.

Сначала я решила, что ее муж вернулся домой, потому что она явно с кем-то разговаривала. Но вскоре, прислушавшись к словам – «ковер испорчен», «непослушное животное», – я поняла, что она отчитывала свою собачонку. Вита, впрочем, обращалась к ней не так, как обычно говорят с малышами и питомцами, – она говорила серьезно и не делала пауз, ее четкая интонация вопросительно взмывала вверх, после чего она отвечала на собственный вопрос.

Я услышала, как пришла Долли, но подождала, пока она сама окликнет меня из пустого коридора, а потом позвала ее на кухню. Тем летом она была очень хорошенькой; я часто представляю ее такой, как в тот день: в школьной форме, с бледными волосами, стянутыми в небрежный хвостик, и сумкой с учебниками на плече. Она редко красилась, одевалась проще своих подруг и оттого выглядела моложе своих лет. Я льстила себе, считая, что она подражает

мне, ведь меня тоже не сильно заботил внешний вид, хотя на самом деле ей просто было некогда краситься и наряжаться из-за школьной нагрузки – уроков и подготовки к экзаменам.

– Доллз, ты опоздала. Как прошел день? – я обняла ее и почувствовала, как она напряглась, нехотя вытерпев мое объятие, но не ответив на него.

– Все хорошо. Без сюрпризов. Ну, знаешь. Экзамены. Ужинать будем? Мне надо готовиться. Торт к чаю?

Она неосознанно продублировала последнюю фразу жестом «торт»: сложенная чашей ладонь поверх другой. Тогда мы уже редко пользовались языком жестов, но мне казалось таким трогательным, когда она это делала, пусть даже неосознанно; она прибегала к языку жестов только для обозначения слов, связанных с детством – *обниматься, мама, пирог, спокойной ночи, любовь*.

Когда Долли была маленькой, а Король уходил на работу, мы часто проводили в уютном молчании целые дни. Нам нравилось общаться жестами; мы выучили язык жестов по библиотечному учебнику и могли только с помощью рук договариваться, чем заняться или что приготовить на обед. Одевая дочку в пальто и перчатки, я не говорила, что мы идем в магазин покупать ей новые резиновые сапоги, а объясняла жестами. Становилась на колени и показывала: *мы поедem на автобусе. За сапогами*, а потом добавляла: *дождь. Гроза. Лужи*.

Долли же с надеждой показывала: *мороженое, мама? Шоколадное! Я люблю мороженое! Ты любишь мороженое!*

У сицилийцев, которых часто завоевывали другие народы, некогда был свой язык жестов, который знали только на острове. Тот, видимо, возник в результате исторической необходимости: местные жители хотели иметь возможность тайно переговариваться в присутствии колонизаторов. Король не позволял нам секретно общаться между собой, не хотел, чтобы мы скрывали от него свои мысли. Впрочем, он скоро обнаружил, что как раз наши мысли его и не устраивают.

Если дочь замолкала и отказывалась говорить, как делала я, он заставлял ее, отняв любимую вещь; рано или поздно она не выдерживала и просила вещь вернуть. «Скажи словами. Если хочешь, чтобы я отдал, скажи словами», – это была его любимая присказка, и мы с Долли обе заметно напрягались, когда ее слышали. Он, разумеется, не хотел, чтобы она говорила *своими* словами, он хотел, чтобы она говорила *его* словами. Но главное – он не мог допустить, чтобы она ушла в комфортное молчание, как я. Этот подход был мне хорошо знаком, со мной в детстве поступали так же. Среди вещей, которыми Долли сильнее всего дорожила, был мягкий белый кролик, подаренный ей на четырехлетие, перчатки в черно-желтую полоску и большоголовая кукла с огромными глазами, такими же пронзительно-голубыми, как ее собственные. Король регулярно прятал эти вещи и ждал, пока она прекратит игру в молчанку и станет меньше похожа на меня.

Я накрыла на стол и принялась раскладывать еду по тарелкам; поставила тарелку перед Долли. Долли села за стол с царским видом и стала ждать, когда ее будут потчевать. Я ожидала ее к ужину еще час назад и держала его на подогреве все это время; еда засохла и скукожилась, как кальмар, выброшенный на солнце.

– Торт на день рождения Дэвида. Завтра принесу кусочек... – но она меня уже не слушала.

Я убрала торт и села напротив нее за стол.

– Великолепно, – процедила она, глядя в свою тарелку. – Белая еда. Опять. Ням-ням.

Теперь, когда мы обе сидели за столом, я заметила, что еда действительно белая, точнее, кремовая, но дело было в четверг, а в четверг мы всегда ели рыбу с рисом. Обычно я подаю салат или зелень, но, когда много дел, забываю; чем больше у меня дел, тем белее наша еда. Белая еда для меня – естественная отправная точка, к которой я всегда возвращаюсь, и лишь

отвращение в глазах Долли напоминает, что с этой привычкой что-то не так. Я предложила поджарить ее кусок рыбы на гриле до золотисто-коричневой корочки.

– Но это все равно будет белая еда, – возразила она. – Просто подгоревшая, – она начала есть, но без энтузиазма.

– Утром опять приходила соседка, – сказала я. Долли не отреагировала и по-прежнему уныло смотрела в тарелку. – Вита. Я рассказывала, – добавила я.

– Кто?

– Вита, – я кивнула на соседний дом. – Помнишь, я говорила, что они переехали в дом Тома? Ты ее еще не видела? Это их красная машина на улице.

– Не видела, – она встала и достала из холодильника бутылку томатного соуса.

– Она сказала, что ее муж тоже учился на математическом и мог бы как-нибудь с тобой поговорить.

– О боже, мам. Как интересно, – ее тон был равнодушным, но она улыбнулась. Мое состояние сильно зависело от выражения лица Долли и ее настроения, и, когда она улыбалась, я тоже чувствовала себя счастливой. Я подумала о том, как она, наверно, устала после очередного дня экзаменов, к которым готовилась несколько месяцев. Она густо полила соусом еду и удовлетворенно вздохнула, оглядев ярко-красное дополнение к белой еде на тарелке. – Ну вот. Больше не белая, – впрочем, свой порозовевший ужин она все равно не доела и открыла морозилку. – Пора за уроки, – сказала она вместо прощания и вышла из кухни с ведерком ванильного мороженого.

– Мороженое тоже белое, – заметила я, повысив голос, чтобы она услышала. – Нельзя есть столько мороженого! – крикнула я.

Но Долли меня не слышала, она уже поднялась в свою комнату, а я разговаривала сама с собой в пустой кухне.

Наутро я открыла коробку с тортом на работе, чтобы презентовать его Дэвиду, и мы увидели, что от торта отрезан большой кусок.

Я нахмурилась, Дэвид вскинул брови и показал: *Долли*, покачав на руках невидимого младенца. Я не так обозначала имя дочери, ему это было известно.

Я проговорила ее имя по буквам: *да, ты прав. Это Д-О-Л-Л-И.*

Он взглянул на торт, на аккуратную глазурь и круглые коржи с оттяпанным треугольным куском. *У Д-О-Л-Л-И хороший вкус. Не ругай ее.* В этот раз он тоже показал каждую букву по отдельности, и мы улыбнулись друг другу. Лицо Дэвида читается как открытая книга; он хочет, чтобы его понимали, в отличие от отца Долли и ее бабушки с дедушкой, чья мимика трудноуловима и изменчива. Мы несколько раз пропели жестами «С днем рождения», как всегда, синхронно размахивая руками и словно исполняя танец, который придумали вместе.

Дэвид сказал, что мы должны съесть по куску торта во время перерыва и еще по куску в обед. Торт был высоким, двуслойным и густо покрыт белой глазурью; все равно осталось бы что взять домой. Кусок, съеденный Долли, тоже погоды не сделал. Но я все равно не отложила ей еще один, как обещала.

В тот день Долли делала уроки с друзьями и не планировала возвращаться до позднего вечера. Я съела тарелку холодных хлопьев с молоком, приготовила ей куриный салат и поставила его в холодильник. Я убирала на кухне, когда в дверь позвонили. На пороге стояла Филлис, наша бойкая пожилая соседка, которая жила в конце улицы; она выжидающе смотрела на меня. Когда мои родители умерли, Филлис вызвалась быть моей опекуницей по суду до достижения мной восемнадцатилетия. Каждый день она ненадолго заглядывала ко мне в гости, и благодаря ее визитам я продолжала жить в доме родителей, а могла бы попасть в приют.

По правде говоря, Филлис подходила на роль опекуниши гораздо больше моей собственной матери.

Она была не без странностей, держала небольшую ферму, и ей было некогда беспокоиться о том, как я жила, но при необходимости она всегда помогала в практических вопросах – записаться к доктору, оплатить счета. А еще она в меня верила и часто говорила об этом, особенно в присутствии других людей, например, сотрудника, назначенного мне судом. Она продолжала верить в меня, несмотря на то что мое состояние оставляло желать лучшего и я часто путалась, но по ее просьбе мы никому об этом не рассказывали. Уже тогда я понимала, какую огромную ответственность она на себя взвалила; думаю, мы обе испытали облегчение, когда мне исполнилось восемнадцать и наша договоренность подошла к концу. Хотя мне до сих пор приходилось напоминать ей, что уже не обязательно заглядывать ко мне, справляться о моем самочувствии и спрашивать, не нужно ли мне чего. Я напоминала ей об этом несколько раз и в конце концов зачитала письмо, в котором Филлис официально освобождалась от своих обязанностей; я прочла его вслух от начала до конца, а она стояла, слушала и кивала. А потом сказала, что получила такое же письмо. Но мое прочтение вслух, глаза в глаза, кажется, помогло ей осознать, что мы освободились друг от друга, и она прекратила ежедневно меня навещать, а если приходила, то больше не спрашивала, можно ли войти, а оставалась на пороге.

Каждую неделю Филлис разносит овощи со своей фермы и бежевые яйца от своих кур по нашей улице, и в тот день был наш черед. Филлис бережно вручила мне тонкий целлофановый пакет с морковкой и помидорами, коробку яиц и многозначительно улыбнулась, словно намекая, что мы обе знали, как я ждала этой доставки и теперь радуюсь. Подарок она всегда сопровождает словами: *мне столько не съесть, жалко будет, если пропадет*. Она и впрямь не смогла бы съесть все овощи, которые выращивала, и все яйца, которые откладывали ее куры – их у нее было пятнадцать, а жила она одна с тех пор, как овдовела много лет назад.

Мне не были нужны ни овощи, ни яйца: когда Долли еще жила со мной, свекры разрешали брать фермерскую продукцию бесплатно в их лавке. Я, впрочем, не злоупотребляла их щедростью и регулярно напоминала дочери, чтобы та следовала моему примеру. Долли же иногда водила в лавку подруг, и те набивали рюкзаки домашним печеньем, тортиками с глазурью и дорогими шоколадными конфетами, чего я с моими скромными еженедельными запросами никогда себе не позволяла. При разводе мы с Королем не договаривались о выплатах и алиментах; дом принадлежал мне, а у него в то время почти ничего своего не было. Но его родители были очень щедры к нам с Долли, и особенно к Долли, давая ей все, что мог бы давать отец. Однако я понимала, что, как только Долли уедет в университет, никто меня кормить бесплатно не станет. Ричард уже начал заранее готовить меня к этому – когда мы с ним встречались в лавке, он задавал риторические вопросы: *ты же станешь реже к нам заходить, когда останешься одна? Наверно, когда Долли уедет, тебе будет удобнее ходить в супермаркет?* Впрочем, так, видимо, было правильно; я не могла зависеть от них вечно, раз их внучка больше со мной не живет, – кто я, собственно, им такая.

– Спасибо, Филлис, – ответила я, – ты очень добра.

Я не стала повторять известный ей факт, что свежие овощи и яйца мы берем на ферме. Я уже несколько раз ей об этом говорила, но она все равно упорно таскала мне яйца, и проще было взять, чем спорить. Я начала закрывать дверь, держа в одной руке пакет с продуктами.

– ...познакомилась? – донесся до меня конец ее вопроса.

– Что? – я снова открыла дверь.

– Говорю, ты уже с ними познакомилась? С новыми соседями? – осторожно проговорила она и указала на дом Виты.

Тут я – как покупатель в лавке, произносившие имя Короля, потому что им нравилось его приятное и интересное звучание, как дети, топившие на языке кусочек шоколадки, – захотела произнести имя Виты и повторить его несколько раз, дабы оно перестало казаться экзотичным и начало казаться обычным, чтобы присвоить себе ее кусочек. *Что на языке, то и в сердце*, предостерегала в детстве мать. Это была ее любимая поговорка, звучавшая за семейным столом

чуть ли не каждый день во время моих периодов тишины. Мать считала, что мое молчание – признак, что в сердце у меня пусто, зато в груди моей разговорчивой сестрицы, натурально, билось сердце, полное дочерней любви. Говоря о моем пустом сердце, мама верно угадала одно – ей в этом сердце не было места. Она не знала, что однажды у меня родится дочь и будет неожиданно и сладко засыпать на моей груди во время обедов и ужинов, разговоров и игр, словно сраженная внезапным бессилием. Долли могла уснуть, даже разворачивая подарки, и оберточная бумага колыхалась у ее лица в такт тихому сопению. Ее привычка засыпать в любой момент растопила что-то у меня в груди и ранила мне сердце, но я не хотела, чтобы рана затянулась. Эти ежедневные детские акты доверия хлынули в сердце, которое моя мать считала пустым и приучила так думать и меня, и заполнили его, как вода. Что касается моей матери, та знала все о пустых сосудах, лишенных любви. Даже Уолтер знал, что в сердце моей матери нет ничего, кроме озерной воды, текущей холодной и одинокой струйкой. Птичье сердце Уолтера тоже было жестоким, но по-своему: в нем жила любовь, но предназначалась она только для жены.

Филлис на пороге терпеливо ждала моего ответа.

– Да, познакомились, – ответила я. – Ее зовут Вита. Она... – тут я замялась, поняв, что ничего про нее не знаю, хотя за последние два дня разговаривала с ней больше, чем с любым другим человеком на протяжении долгого времени. Впрочем, я кое-что вспомнила. – Она училась в Кембридже. На истории искусства, – я говорила о ней как гордый родитель.

За спиной Филлис возникла Долли, похлопала старушку по плечу и проскользнула мимо нас в дом.

– Филлис! – тепло проговорила она уже из прихожей. – Надеюсь, вы принесли нам вкусные яйца от ваших курочек!

Филлис довольно заморгала:

– Какая милая девочка твоя Долли. И так на тебя похожа. Ничего общего с отцом. Совсем ничего, – Филлис – одна из немногих, на кого чары Короля не производят ни малейшего действия, и она не боится об этом говорить. Она подождала, пока Долли скроется в конце коридора, словно мы говорили о чем-то тайном и, возможно, не предназначенном для детских ушей. – Я к ним заходила, к твоим соседям, приносила яйца, но мне никто не открыл. Ни разу. Уже несколько дней хожу. Даже когда спортивная машина стоит перед домом, никто не открывает, – она округлила глаза и нахмурилась; загадочное отсутствие соседей не давало ей покоя, а морщины, и так довольно глубокие, залегли глубже. – А я еще помню то время, когда тут жили Фрэн с Артуром. Помнишь их? Милая была пара. Но сейчас-то, конечно, все по-другому. Все изменилось, – она беспомощно развела руками и бессильно уронила их вдоль туловища. На самом деле на нашей улице не изменилось ничего; тут жили почти все те же самые люди, что и в моем детстве, а на фотографиях, сделанных моими родителями вскоре после их свадьбы, изображены те же деревья, ровно подстриженные живые изгороди и дорожки, что сейчас могли лицезреть вокруг мы с Филлис. – Слышала, «Лейквью» собираются продать. Вместе со всеми детьми!

«Лейквью» был местным детским домом, расположенным в красивом строгом здании на краю города. Я могла бы оказаться там дважды: сразу после рождения, если бы желание матери осуществилось, и в шестнадцать лет, если бы Филлис не предложила стать моей опекуной. Из ее слов я поняла, что дом собираются продать вместе с детьми, то есть там по-прежнему будет интернат. Видимо, она сообщила мне этот шокирующий факт как приманку для продолжения разговора; Филлис любила поболтать.

– Не может быть. Уверена, Филлис, ты что-то напутала, – сказала я и приготовилась закрыть дверь. Еще раз.

Но она не собиралась уходить.

– Мне пришлось убить Флоренс, – как ни в чем не бывало сказала она.

Я неохотно открыла дверь. «Ха!» тут не отделаешься.

– Так, – сказала я.

– Она стала жрать яйца, на нее не было управы. Потом Мэри стала ей подражать, и другие наверняка стали бы, если бы я ничего не сделала. Мэри удалось отучить – я наполнила яйца разведенной горчицей, – но Флоренс уже вошла во вкус, ее было не остановить.

– И ты ее убила? – я не могла поверить, что Филлис прикончила одну из своих курочек, которых носила на руках по саду, как младенцев, называла человеческими именами и представляла всем прохожим, даже если те не проявляли к ним интереса.

– Удавила, и Мэри удавлю, если она снова возьмется за свое, – Филлис сжала костлявые пальцы, видимо, вспомнив, как душила курицу.

Вены на бумажно-тонкой коже вздулись, отчего ее руки сами стали как куриные лапки. Ее крысиное личико наострилось пуще прежнего; она словно ждала, что я осужу ее за ее поступок. А я еще не решила, что об этом думаю и изменилось ли мое мнение о Филлис теперь, когда та стала птице-убийцей.

– Что ж. Ну удавишь и удавишь, – ответила я невпопад, как начальник почтового отделения, обвинявший меня в ухудшении погоды, и наконец закрыла дверь.

Долли окликнула меня с дивана, где сидела с банкой колы и салатом, – *это ты пригостила, мам? Цветная еда!* Она хотела, чтобы мы вместе посмотрели телевизор. Показывали наш исторический сериал, дурацкий, плохо снятый, но он казался смешным нам обоим, а смеялись мы так редко, что ради этого стоило смотреть любую ерунду. Молодые актеры становились знаменитыми и покидали сериал, найдя более высокооплачиваемую работу, поэтому по сюжету все время кто-то умирал. А на следующей неделе в диалогах всплывали новые герои, о которых раньше никто ни слова не слышал – *моя сестра живет на побережье, муж ее викарий*... – и уже в следующей серии этот викарий появлялся в кадре, разумеется, вслед за трагической внезапной кончиной супруги. Главная героиня была молодой и хорошенькой, но очень сильно красила глаза, хотя дело было в девятнадцатом веке; даже утром она просыпалась уже накрашенная. Она любила повторять: «Папа не допустил бы такого в своем доме!» Каждый раз, услышав эту фразу, мы с Долли соединяли мизинчики в миниатюрном рукопожатии и сами повторяли ее при любом удобном случае: за грязным столиком в кафе; когда я забывала помыть голову; когда она возвращалась домой в неурочный час; когда ужин получался переваренным или я неуместно одевалась.

Мы уютно устроились, сидя на диване; Долли положила ноги мне на колени. Она была высокая, намного выше меня, и ее длинные ноги казались и родными, и чужими. Их тяжесть успокаивала; я водила пальцами по выступающим косточкам на ее стопах. Когда-то я знала эти стопы, это тело лучше своих собственных, ведь я носила ее на руках и кормила, когда она была еще мягкой и кругленькой. Я купала ее, одевала и бережно клала в кроватку каждый вечер с благоговением жреца, совершающего выверенный священный ритуал.

Потом пухлая малышка превратилась в тонконового эльфа и оставалась такой несколько лет. Эта дочка ковыляла по дому как маленький пьяница, и считала меня естественным продолжением себя. Каждый день ей открывалось что-то новое, неизвестное – от блинчиков до светофоров, и она встречала эти новшества презрительным смешком и косо брошенным на меня взглядом – мол, какая нелепость, да? В те годы мы каждое утро с любопытством наблюдали, как живший напротив школьный учитель захлопывал дверь, а потом начинал остервенело дергать ее, пытаясь попасть в свой дом без ключа. Следя за ним, мы ели тосты и указывали маленькими треугольничками в окно на особо важные детали. *Как он сегодня приоделся. Новый портфель?* – спрашивали мы друг друга за утренними посиделками. *Подстригся, что ли? Никуда не годится. Слишком коротко.* В магазинах мы изучали привычки и предпочтения

соседей и обсуждали их покупки – что кто полезного купил, что странного. Иногда категорично и вслух, иногда молча, на языке жестов.

Потом эта дочь снова стала другим человеком, а еще через два года ей предстояло снова измениться и уехать от меня в университет. Она сбрасывала старую кожу с легкостью, которой я никогда не обладала. Я бы хотела, чтобы она не менялась, оставалась всегда одинаковой и моей, как тот некогда безупречный крошечный младенец. Ведь когда-то давно мы создали друг друга из ничего, но я с тех пор не менялась, а она менялась регулярно и с каждой новой трансформацией все сильнее от меня отдалялась. В тот момент я поняла, почему Филлис убила свою любимицу Флоренс и почему наверняка убьет и Мэри. И решила, что в следующий раз с благодарностью приму ее яйца и буду слушать ее болтовню на пороге столько, сколько понадобится.

Пропавшее сердце

Через неделю после переезда Виты я вернулась домой с работы и обнаружила ее на крыльце ее дома. На ней было красное платье с пышной юбкой из тюля, а поверх накинут мужской твидовый блейзер. Волосы блестели и казались темнее, чем в прошлый раз, и, подойдя ближе, я поняла, что они мокрые. Она неуверенно сжимала в пальцах сигарету, точно собиралась ее выбросить, и сосредоточенно разглядывала свои маленькие босые ноги. Мне нравились ее аккуратные загорелые стопы; они были очень хорошенькие. Я стояла молча, решая, прерывать ли ее задумчивость. Но она посмотрела на меня, прежде чем я успела заговорить, и легкая хмурость мгновенно прояснилась, сменившись широкой улыбкой.

– Ты! – воскликнула она, как будто так меня звали. Как будто больше ни к кому нельзя было обратиться «ты». – А я надеялась, что тебя сегодня увижу! Иди сюда! Садись.

Она похлопала по каменному крыльцу рядом с собой, и я послушно села. Она слегка подвинулась, а тюль красиво колыхнулся и улегся поверх моих рабочих брюк. Он был как живой, и я еще раз убедилась, что Вита питала слабость к красивым вещам. Она выбросила сигаретный окурочек, щелкнув пальцем, и не сразу убрала вытянутую руку с растопыренными пальцами, смотревшими в сторону брошенной сигареты.

– Ты почему такая нарядная? – спросила я.

Вита взглянула на свое платье, словно только что вспомнив, что на ней надето. Задумчиво коснулась мокрых волос:

– Вот еще! Просто Ролс наконец сдал вещи в химчистку. Я вышла из душа, и на вешалке висело только это платье. Пришлось выбирать: надеть его или теннисное. Ты играешь в теннис?

– Нет. Но ты все-таки нарядная, – поправила я.

Она пожала плечами и расправила юбку обеими руками в знак согласия.

Мы молча наблюдали, как напротив припарковалась одна из сестер Фрейзер, выгрузила из машины нескольких маленьких детей и повела их в дом матери.

– Кто это? – спросила Вита. Но я не успела ответить; Вита встала, мерцающая ткань всколыхнулась, и пышная юбка под коричневым пиджаком раскрылась как зонтик. – Схожу за сигаретами. Никуда не уходи. Жди меня здесь. Или хочешь зайти?

– Не хочу, – ответила я. Долли на днях потеряла ключ и я должна была следить за входом, чтобы не пропустить момент, когда она придет. Я положила обе ладони на полочки твидового пиджака; одна коснулась атласной подкладки, вторая – более грубой шерсти. Ощущения были приятные. – Пиджак мужа?

Она кивнула, а я убрала руки; Вита взбежала по крыльцу и скрылась в доме.

Пока Вита была в доме, я раздумывала, стоит ли рассказывать ей про Фрейзеров, и если да, что именно. Я знала о них слишком много. Как, наверно, и они обо мне. Дом Фрейзеров стоял между домом мистера Аткинсона и фермой Филлис. У Фрейзеров пять дочерей, и все появились на свет в результате тщательного планирования; когда Долли была маленькой, мы засматривались на этих симметричных матрешечек: каждая следующая была ровно на голову выше предыдущей, а старшая на голову ниже матери. Девочки ходили в школу в соседнем городе и с местными детьми не общались, видимо, предпочитая – возможно, в приказном порядке – компанию друг друга. Мистера Фрейзера мы видели редко, но его жена и дочери попадались нам на глаза постоянно. Они выходили из дома и шагали по дорожке парами. Тротуар на нашей улице вмещает только двоих. Миссис Фрейзер обыкновенно выступала впереди со старшей дочерью; дальше девочки становились по возрасту, а замыкали процессию две младшие, которые шли, взявшись за руки. Когда к ним присоединялся отец, он шел один впереди. Мать и девочки одевались одинаково – в длинные пальто и широкие юбки; единственное, что было у них различного, – туфли. Пара во главе процессии вышагивала на высоких каблуках,

следующие две девочки носили каблучки чуть ниже, и, наконец, младшим полагались скромные туфельки на плоской подошве. Привычка Фрейзеров расхаживать парами напомнила мне сказку, которую я любила в детстве: в ней домашние животные решили стать похожими на людей. Они нарядились в человеческую одежду и вели себя так, как, по их мнению, должны вести себя люди. В сказке подробно описывались новые привычки и платье животных, но, что удивительно, животные становились гораздо больше похожи на людей, когда переставали притворяться и вели себя, как им свойственно. Так и сестры Фрейзер – их милые маленькие особенности, легкая пружинка в шаге и растрепанные косички со временем все больше сглаживались, и младшая сестра превращалась в неотличимую копию старшей. И в конце концов все, естественно, становилось копией матери.

Дольше всего я возлагала надежды на младшую. Она всегда немного выбивалась из семейного ряда – то пальто не застегнет, то перчатки забудет. Она имела обыкновение останавливаться и замирать, подставив лицо солнцу или дождю, таращиться на домашних животных на нашей улице или даже – один раз – на порнографический журнал, видимо, выпавший из мусорного бака у дома мистера Аткинсона. Мистер Аткинсон был, бесспорно, самым уважаемым и старым жителем нашей улицы, и, говоря о нем, соседи изъяснялись подчеркнуто высокопарно. У Филлис были свои представления о том, как звучит *язык состоятельных людей*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.